E41—402

ИСТПАРТ ЦК ВКП /б/

К. ФЕЛЬДМАН

ПОТЕМКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

14-25 ИЮНЯ 1905 Г.

ВОСПОМИНАНИЕ УЧАСТНИКА

2 СТЕНБЕРГ 2

„ПРИБОЙ" ЛЕНИНГРАД 1927

В40/23
Е41/402

ИСТПАРТ
ОТДЕЛ ЦК ВКП (б) ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ВКП (б).

К. ФЕЛЬДМАН

ПОТЕМКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

(14—25 июня 1905 г.)

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА

С приложением статьи В. Бухгольца
„ПОТЕМКИНЦЫ В ГЕРМАНИИ"

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
Инв. № 64580/80
Сф 15568

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД

2 2125

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ
Изд-ства «Ленинградская Правда»
Ленинград, Социалистическая, 14.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГУБЛИТ № 37354.
Тираж 3000. 9 л. Зак. № 1413

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 64580 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВОССТАНИЕ И СДАЧА „ПОТЕМКИНА".

Стр.

I. Накануне 5
II. Воеставший броненосец на рейде 9
III. Взрыв восстания 12
IV. „Потемкин" в Одессе 22
V. Бомбардировка Одессы 33
VI. Восстание на „Пруте" 38
VII. Встреча с эскадрой. Присоединение „Георгия" 49
VIII. Измена „Георгия" 58
IX. Дорофей Кошуба 62
X. В Румынии 64
XI. Скитания „Потемкина" 65
XII. В Феодосии 70
XIII. Сдача 74

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

АРЕСТ И ПОБЕГ.

I. На гауптвахте 79
II. Пересылка и плавучая тюрьма „Прут" 84
III. В севастопольской тюрьме 90
IV. На военной гауптвахте.—Побег. 96
V. На воле 107
VI. Заключение 112
Приложение: Потемкинцы в Германии—*В. Бухгольца* 127

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВОССТАНИЕ И СДАЧА «ПОТЕМКИНА».

I. НАКАНУНЕ.

Вдоль деревянной, не отстроенной еще эстокады Пересыпи, рабочего предместья г. Одессы, несся, перепрыгивая с балки на балку, молодой парень. Каждый прыжок его над водяными ямами был опасным акробатическим номером; но парень привык, очевидно, к этим упражнениям. Он прыгал легко и уверенно, откидывая назад при каждом прыжке спадавшие на лоб длинные черные кудри.

Стоявший на посту городовой долго смотрел ему вслед и, наконец, сплюнув, выругался: «Вот чорт лохматый», отдав, очевидно, этим восклицанием дань уважения ловкости удалявшегося парня.

Между тем, парень, достигнув таким образом первого высокого закоптелого дома, остановился и, оглянувшись вокруг себя, крикнул: «Ива-а-ан Про-хо-оров!».

Из окна третьего этажа высунулась голова старого рабочего.

— Завод Гена, собирайся,—бросил ему парень и помчался дальше, останавливаясь у каждого дома и оповещая кого-нибудь из рабочих о созываемой сходке.

А из черных домов выходили рабочие и, созывая соседей, направлялись к заводу.

Это было утром 15 июня 1905 года.

Пересыпь бастовала уже несколько дней.

Первый вал революционного 1905 года докатился в железобетонные кварталы рабочего города Юга; крепкий пьянящий угар, заглушая привычные запахи моря, вливал новые, неведомые до сих пор чувства и силы в сердца людей. Люди в один час сбрасывали с себя цепкую паутину будничной жизни, ломали одним взлетом мысли годами сложившуюся привычку к повиновению; действия и события стали принимать вдруг неожиданную ясность, четко обозначилась непримиримость вещей и миров.

Еще не так давно, на другой день после 9 января, социал-демократические организации гор. Одессы тщетно пытались поднять забастовочное движение: рабочие оставались глухи к их

призывам, прогоняли агитаторов, приходивших в мастерские звать их к забастовке, а иногда, как это было в железнодорожных мастерских, рабочие даже помогали полиции арестовывать товарищей. С другой стороны, среди рабочих пользовались еще некоторой популярностью остатки зубатовцев.

Но вопрос о захвате власти пролетариатом был уже поставлен в порядок дня российской жизни: волна революции из Петербурга докатилась до далекого Юга.

Социал-демократические организации захватывали все большие круги рабочих масс; социал-демократических агитаторов уже не только не выдавали полиции,—их слушали и звали к себе работать. Одна за другой вспыхивали забастовки на заводах; полиция, помогавшая сначала зубатовцам проводить экономические требования рабочих, вдруг поняла, что движение ускользает из рук зубатовцев (независимцев). Тогда она сбросила свои лайковые перчатки и показала железный кулак. Начались аресты выборных от рабочих; все становилось ясно.

11-го, вечером, состоялось об'единенное совещание всех социал-демократических организаций: большевиков, меньшевиков и Бунда. Решено было на 14 июня об'явить всеобщую политическую забастовку. Хотя в этот момент социал-демократия еще не овладела всем движением, но совещание правильно учло, что в атмосфере массовых стачек быстро зреют события, определяющие классовое самосознание рабочих. И действительно, к 12 июня бастовала уже вся Пересыпь.

12 июня, поздно вечером, жандармерия арестовала забастовочный комитет пересыпских рабочих.

Сходка у завода Гена, на которую созывал рабочих лохматый парень, должна была обсудить вопрос: как добиться освобождения арестованных товарищей?

Рабочие собрались у завода Гена за кирпичной стеной нового трехэтажного флигеля, среди развалин рассыпавшейся от старости водокачки. В нише полуразрушенной башни умостились ораторы; шла горячая схватка между социал-демократами и зубатовцами. Последние предлагали организовать процессию по образцу гапоновской к дому градоначальника, с просьбой освободить выборных. Социал-демократы предостерегали рабочих от этой провокации, звали их итти на работающие еще заводы, снимать товарищей, и предлагали об'явить всеобщую забастовку. Рабочие были в нерешительности.

Прибежали мальчишки, предупредили: «Едут казаки!».

Стало вдруг тихо...

Из Александровской улицы показалась казачья сотня; ехали крупной рысью; впереди, рядом с казачьим офицером, маячил белый китель полицейского пристава.

Под'ехали...

— Ну, чего собрались? Разойдись!!!

Лошадиные морды мягко щекочут лица стоящих в передних рядах.

— Освободите выборных! — раздается крик в толпе.

— Освободите выборных! — подхватывает сотня голосов.

— Эскадрон, кругом марш!

Трусят мелкой рысцой лошадиные зады...

— Ребята, бери камни, сейчас повернут.

И когда сотня мчится обратно бешеным казацким галопом, ее встречает дождь увесистых камней.

Дрогнули. Ускакали. Видно было, как стали собираться снова в конце Александровской улицы.

Зубатовцев уже никто не слушал; знали, что вот сейчас там спешатся донцы и откроют огонь. Кто-то бросился к проходившему вагону конки и остановил лошадей. Слово «баррикада» уже овладело толпой.

— Баррикаду, баррикаду!..—Многие не понимали еще даже этого иностранного слова, но обаяние революционной борьбы охватило уже толпу.

— Баррикаду, баррикаду!—и сотни рук валили вагоны, ломали деревья, тащили откуда-то тюфяки и мешки с песком...

Неизвестно, откуда пришло это слово, кто первый произнес его; никто не знал, как надо строить баррикады, никто не спрашивал себя, что надо делать потом.

«Баррикаду, баррикаду!»...

Сейчас это не было еще, собственно, ясно осознанным средством борьбы, пока это был лишь символ ее—старое, испытанное знамя революции. Его поднимала толпа, обожженная горячим дыханием первой докатившейся до нее революционной волны.

Чудесное слово! Как мечта моряка о земле, оно повторялось целыми поколениями революционеров; в глубоких подземельях каторги, в мрачных застенках охранки носили и хранили это знамя, ждали чудесного часа, когда его можно будет выкинуть на улицах российских городов; знали, что не баррикада решит борьбу на широких улицах современных городов против вооруженного до зубов царизма, знали, что борьбу решит сама армия переходом на сторону революционного народа, и знали, что придет все-таки час, когда революционная романтика ее образа, как колокольный набат, об'единит восставшие массы.

Чудесен час, когда впервые развертывается это знамя; счастливы люди, поднявшие его.

Эти пятьсот рабочих, собравшихся у завода Гена, только несколько минут назад колебались еще, за кем итти — за революционерами или за зубатовцами.

И образ тысяч рабочих-борцов, умиравших на баррикадах десятки лет назад в далеких зарубежных странах, превратил их в неукротимых отважных бойцов.

Социал-демократ Медведев забрался на баррикаду; размахивая вместо знамени какой-то книжкой в красном переплете, он крикнул: «Товарищи!..» И не договорил: раздавшийся залп свалил его мертвым с баррикады. Рядом с ним повалились раненые и убитые. Казаки бросились к ним, но рабочие уже оправи-

лись. Снова посыпался дождь камней. Толпа отбила своих раненых и мертвецов.

Раненых отправили в больницу, а мертвых понесли по улицам города. Теперь не только живые, но и мертвые звали к борьбе...

Восстание было поднято...

Утром 14 июня оно захватило уже весь город: забастовка стала всеобщей. Уличные бои вспыхивали в разных частях города, баррикады воздвигались на Пересыпи и в Дальницком районе, в центре и в порту. Шум, говор, выстрелы, песни — оживление большого революционного дня носилось над городом. В конце дня на улицы выполз страшный массовый террор: в 6 часов вечера были убиты два пристава и один околоточный, отличавшиеся утром своими расправами; их имена передавались толпой из уст в уста, из одного конца города в другой; приговор над ними созревал и произносился безмолвно на улицах революционным народом, и тысячи мстителей без предварительного сговора стерегли их на каждом углу.

Забастовка сразу приняла характер восстания. Настроение росло, масса революционизировалась. И отовсюду доносилось властное требование: «Оружия!».

А его не было.

Поздно вечером на Пересыпской эспланаде состоялось районное собрание, на котором мы подсчитывали свои силы. Для всех было ясно, что если завтра мы не удовлетворим требования масс, если не дадим рабочим оружия, — движение остановится. Но где взять оружие? Несколько бомб и полсотни старых револьверов — вот весь арсенал революционных организаций. Войска одесского гарнизона, правда, не были настроены враждебно против рабочих; это было видно уже из того, что царская администрация, повидимому, решительно избегала высылать их против рабочих,—во всех столкновениях пока действовали только конные полицейские и казаки, и это, несмотря на очевидную нехватку последних. У нас имелись точные сведения, что в город стягивались войска из других местностей, между прочим, с румынской границы.

Что могли мы противопоставить им?

Было до боли обидно, что такой могучий под'ем пролетариата батальон состоял из 600 пехотинцев, да и в активном выступлении его у нас не было твердой уверенности.

Только теперь стало ясно, какую ошибку мы совершили, не поставив до сих пор на прочных основах работу в войсках.

Было до боли обидно, что такой могучий под'ем пролетариата большого промышленного города должен упасть из-за нашей неподготовленности. Когда мы передали пересыпским рабочим лозунг об'единенного совещания социал-демократических организаций: «Завтра с утра все в центре города», — мы уже знали, что назначенная там демонстрация будет лебединой песней одесского восстания.

Когда вечером, возвращаясь домой, я проходил неподалеку от Соборной площади, раздался оглушительный взрыв. Я бросился бежать по направлению взрыва, но всюду натыкался на казачьи патрули. Они гнали народ, окружив почти сплошной цепью Соборную площадь. От бежавших людей я узнал, что кто-то бросил бомбу в полицейского. В этой толпе бегущих среди ночи людей, в диком гиканье мчавшихся по плохо освещенным улицам казаков, в тревожном шопоте перепуганного обывателя чудилась грозовая туча революции, нависшая над мягким покровом южной ночи.

Город засыпал тяжело и тревожно.

II. ВОССТАВШИЙ БРОНЕНОСЕЦ НА РЕЙДЕ.

На другой день, в 10 часов утра, я пробирался к Екатерининской площади. Я спешил на квартиру моего приятеля, тогда анархиста, ныне члена ВКП, Марка Михайловского. Накануне, отправляясь в Пересыпский квартал, я переоделся у него в костюм рабочего; теперь, в виду предстоящих событий в центре города, из тех же конспиративных соображений, мне надо было облечься в свой костюм городского франта.

Улицы были полны оживленной толпой, двигавшейся по одному со мной направлению; по мере приближения к приморскому Николаевскому бульвару толпа все увеличивалась. Какой-то шопот, всегда присущий толпе, когда она узнает о чем-то новом и неожиданном, несся по улице.

В квартире Михайловского я должен был получить также инструкции от об'единенного совещания о готовящейся демонстрации; вместо них я узнал ошеломляющую по своему значению и неожиданности новость: в порт прибыл броненосец; команда его взбунтовалась, перебила офицеров, примкнула к революции; в порту — палатка с трупом убитого во время восстания матроса.

Не веря этим словам, я побежал на Николаевский бульвар, и никогда не забыть мне той минуты, когда я увидел на рейде изумительное видение первого революционного броненосца.

Туда вместе со мной бежала толпа, радостная, восторженная и смелая. Порт был уже свободен от полиции; из всех районов стекались сюда импровизированные колонны манифестантов. Пробираться среди плотной стены тысячи людей было почти невозможно, но моя студенческая фуражка проложила мне дорогу. Никто не знал что делать; ждали, искали руководителей; увидев меня, расступилась, пропустили.

Наконец, я добежал до палатки.

В палатке лежал труп убитого матроса; на груди была приколота записка следующего содержания:

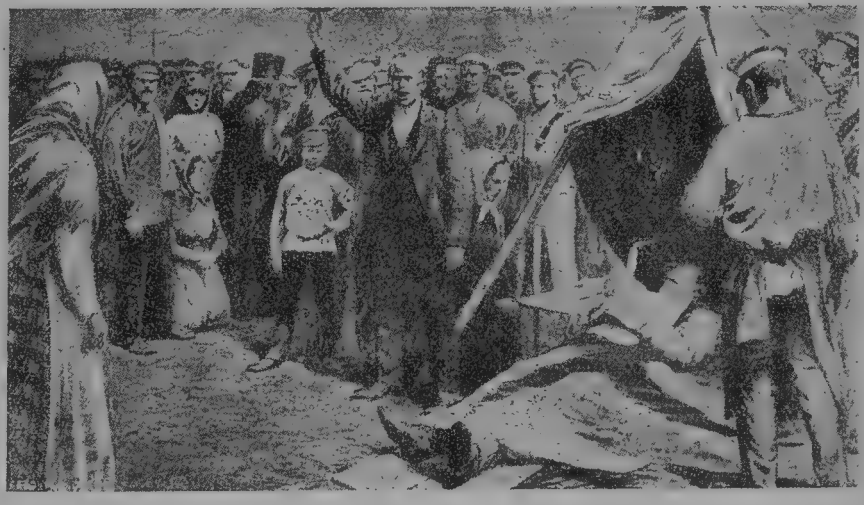
«Господа одесситы. Перед вами лежит тело зверски убитого матроса, Григория Вакулинчука, убитого старшим офицером эскадренного броненосца „Князь Потемкин-Таврический" за то, что Вакулинчук заявил, что „борщ не годится". Осеним себя крестным знамением и скажем: „Мир праху его". Отомстим кровожадным вампирам. Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!»

Команда эскадренного броненосца.

„Князь Потемкин-Таврический".

Один за всех — все за одного!»

С поразительной ясностью представилась мне вся картина нашего положения. Власти ошеломлены и растерянны. Войск мало,



Труп Вакулинчука на набережной в Одессе.

и те ненадежны. С другой стороны, начавшаяся еще до прихода «Потемкина» береговая революция и мощная боевая сила прибывшего корабля! Надо немедленно заставить матросов высадить десант, вместе с рабочими взять город и основать республику в Одессе; затем мобилизовать рабочих и крестьян, двинуться отсюда дальше, провозгласив аграрную реформу, революционизируя всюду рабочие и крестьянские массы.

Нужно было спешить к броненосцу; не было времени сноситься с организациями, и я решил действовать за своей личной ответственностью.

На шлюпке плыву к броненосцу; навстречу мне военный катер.

— Куда плывете?

— К революционному кораблю.

— А вы кто такой будете? Социал-демократ?

— Да.

— А какое есть у вас доказательство?

— Социал-демократы не имеют паспортов; их и без них в Сибири и в тюрьмах гноят.

— Ну, так садись к нам.

Говоривший со мною был Матюшенко.

Небольшого роста, он своими резкими энергичными чертами лица, выдающимися скулами и маленькими чуть-чуть косыми глазами производил впечатление вылитой бронзовой статуи.

Матюшенко был рычагом Потемкинского восстания; он был его зеркалом и душой; в его действиях, нередко противоречивых, отражались все взлеты и падения этого славного дела; понять Матюшенко—это значит понять весь характер и ход Потемкинского восстания. Если вы захотите измерить его простым аршином, уложить его в обыкновенную простую и ясную формулу, у вас получится неразрешимая задача. Ибо Матюшенко — сам народ, тянущийся к великим лозунгам пролетарской борьбы, но не овладевший еще ими. В нем все полно противоречий; это про него сказал французский писатель Луи Нодье: «Народ не знает наших полухарактеров; он неумерен в своих порывах, так же героичен в своих подвигах, как безграничен в своем падении».

«Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Я люблю Матюшенко, люблю как своего бывшего боевого товарища, люблю как образ большой и значительный, и потому хочу рассказать о нем в с ю п р а в д у, не боясь умалить его значительности.

Матюшенко никогда не был сознательным социал-демократом, хотя и любил называть себя таковым.

До восстания он был примерным матросом и был произведен даже в квартирмейстеры. Немногочисленная группа организованных матросов на корабле с опаской поглядывала на него.

Когда масса молчала, молчал и он; когда она стала просыпаться, он первый схватился за оружие и крикнул: «долой тиранов!». Когда народ мстил своим угнетателям, Матюшенко был неумолимо жесток: из семи убитых на «Потемкине» офицеров пятеро были истреблены лично Матюшенко. Когда народ прощал, Матюшенко поражал своим великодушием: лишь только раздался крик: «Довольно крови!», он взял на себя лично защиту уцелевших офицеров и сам свез их на берег. Узнав, что жена убитого во время восстания командира Голикова находится в Одессе, он по собственному почину берет из судовой кассы 1 000 рублей и один, без всякой охраны, даже не предупредив команду о своем опасном предприятии, отправляется в вооруженный лагерь царских войск и вручает какому-то генералу 1 000 рублей — «пенсию вдове Голиковой от команды броненосца». Он бросает команде вызывающе: «Буду стрелять по городу даже помимо вашей воли, а вы, если хотите,—вяжите меня и предавайте начальству». После измены «Георгия Победоносца», охваченный паникой, кричит:

«В Румынию, сдаваться!». Когда в Феодосии по нам открыли огонь и я плыл вдогонку за уходящим катером с раненым матросом на руках и просил о помощи, я ясно видел глаза Матюшенко, безмолвно глядевшие на меня с уходившего катера.

За границей он тоскует, мечется из стороны в сторону: из Румынии отправляется в Швейцарию, из Швейцарии в Америку, оттуда во Францию, переходит из партии в партию — от социал-демократов к социалистам-революционерам, от социалистов-революционеров к анархистам, от анархистов к максималистам. С петлей на шее, он отправляется в Россию, на Юг, где его хорошо знают, где каждый шаг его — ступень к эшафоту.

И как просто и мужественно принял он смерть!

«...Приговор ему читали долго, больше часа... Перечисляли все его преступления, чуть ли не против всех статей уголовного и военного кодекса. А он стоит и не дрогнет. Только по временам сплюнет в сторону. Подошел священник. Он его слегка отстранил рукой и пошел твердо и легко к виселице, так что палач еле поспевал...» [1].

Быстрый, как стрела, катер понес нас к могучему кораблю.

И из первых же разговоров на корабле стало ясно, что положение тут не такое простое, каким оно казалось со стороны.

Вместо ожидаемого энтузиазма, мы встретили здесь серый прием и неопределенное настроение. Матросы как будто сами были удивлены своим делом, не свыклись еще с новизной положения, не знали еще, что делать, куда и с кем итти. Единственное принятое твердое решение было против моего плана: ни в коем случае не покидать корабля и ждать прихода всей эскадры.

III. ВЗРЫВ ВОССТАНИЯ.

Революционная пропаганда и агитация среди матросов Черноморского флота уже с 1903 года приняли массовый характер. Велись они почти исключительно социал-демократическими организациями, так как социалисты-революционеры, после разгрома их Севастопольской организации в декабре 1903 года, не сумели наладить новых связей среди флотских экипажей.

Социал-демократическая пропаганда во флоте встречала благоприятную почву в особых условиях матросской казарменной жизни. Суровая дисциплина, жестокие наказания, тяжелая, изнурительная работа, носившая характер каторжных работ, воровство офицеров, плохое питание служили вечными поводами для глухого недовольства среди матросов. И все эти безобразия

---

[1] В. Невский. Восстание на броненосце «Потемкин-Таврический». Воспоминание Поссе.

проделывались над наиболее сознательной и культурной частью русского войска. Дело в том, что служба во флоте требует гораздо большего развития, чем служба в войсках: уход за сложными артиллерийскими орудиями, служба в машинных частях, сигнализация, служба при беспроволочном телеграфе — все это требует грамотных и сознательных исполнителей, и потому во флот забирали наиболее грамотных сынов пролетариата и крестьянства.

Остановки в зарубежных портах во время плавания знакомили матросов с рабочим движением зарубежных стран и сталкивали их с русскими эмигрантскими социалистическими организациями. В Галате, в Констанце, в Варне — всюду, куда прибывали русские военные корабли, среди них распространялась социал-демократическая литература.

С 1903 года в севастопольских экипажах уже систематически, не реже двух раз в месяц, разбрасывали прокламации Севастопольского комитета партии; в горах, окружающих Севастополь, устраивались летучки и массовки; в 1904 году на этих массовках присутствовало обыкновенно от пятнадцати до двадцати матросов; в 1905 году бывали уже массовки, на которых присутствовало до пятидесяти матросов. Если принять во внимание бдительность полицейских и военных властей, то ясно станет, что устройство таких массовок 2—3 раза в месяц служило показателем широкой и планомерной организации социал-демократической работы среди матросов Черноморского флота.

В ноябре 1904 года в севастопольских экипажах вспыхнул первый матросский бунт. Вот разсказ одного из участников этого бунта, матроса, осужденного на каторгу:

«Наступило 3 ноября 1904 года. С утра разнеслась весть, что за ворота не пускают с обыкновенными белыми билетами, а по приказанию Чухнина должны быть какие-то красные. Красных же билетов никто не выдавал; это сильно озлобило матросов. К вечеру, когда вернулись матросы с казенных работ, у ворот второй дивизии собралась толпа матросов, человек до трехсот. Стали переругиваться с дежурным у ворот. Выругали, освистали и загикали дежурного офицера. Кто-то из толпы бросил камень в фонарь, зазвенели стекла разбитого фонаря. Это послужило сигналом. Толпа заволновалась, послышались крики: „А, красные билеты,—мы вам дадим красных билетов! Бей их! Ура". Камни, доски, палки, все, что попадало под руки, летело в окна, двери, ворота, фонари. Матросы выбегают из экипажей, присоединяются к восставшим. Шум увеличивается. Громкое „ура", свист, стук, звон разбитых окон все увеличивается и увеличивается. Вот минута затишья: не слышно голосов, только звенят окна да слышатся глухие удары в двери, и потом опять долгое, мощное „ура". Добрались до офицерских квартир, выбили стекла, разбили посуду, порвали подушки, в одном месте подожгли. Офицеров—ни одного как вымерли. Говорят, что они попрятались в погреба. Добрались

и до военно-морского суда, выбили все окна. Вышел дежурный горнист, стал трубить тревогу. Вырвали рожок, положили его. В одном месте послышались звуки „марсельезы", — то организованным удалось сплотиться. Слышатся крики: „На арестный дом! Освободить товарищей! В город, в город! Бери винтовки и в город!". А могучее „ура" не перестает греметь. Свист, стук и крики сливаются в одно. Вот забили тревогу в соседнем пехотном Брестском полку. Где-то близко раздалось особенное, короткое, сухое „тррра". Это дали залп будущие унтер-офицеры с крейсера „Память Меркурия". А грозное, могучее „ура", звон стекол, треск пехотного барабана не прекращаются. Вот совсем близко от нас показались белые огоньки, и снова послышалось характерное „тррра". И что-то жалобно-жалобно над головами завизжало. То опять будущие унтер-офицеры дали залп по своим братьям-матросам. Шум смолк. Стали разбегаться по экипажам. Кое-где слышны были возгласы: „За винтовки, мы им дадим, проклятым, как стрелять в своих!". Но никто не слушал. Снова прорезало ночную мглу и раскатилось тысячами отголосков в соседних горах характерное, сухое „тррра". Кто-то жалобно вскрикнул. То опять дали залп и на этот раз убили такого же несчастного, забитого матроса, каковы и сами будущие унтер-офицеры. Паника усилилась... Через несколько времени, когда все матросы были в экипажах и во дворе достаточно было патруля, присланного с кораблей, пришли офицеры. Как приниженно и жалко выглядели они, просто противно было смотреть на них. Зашел к нам мичман Высокосов, командир четвертой роты, и начал: „Братцы, что вы делаете? Теперь такое время, царь-батюшка, царица-матушка и я плачу, а вы?..". „Пошел вон, кровопийца!"—крикнул ему кто-то; на всех лицах написана злоба. Мичман ушел. Во дворе его кто-то угостил камнем в бок. Часов до 11-ти кое-где еще раздавался звон разбиваемых окон; то кто-нибудь из патруля тайком пустит камень в окно, либо изнутри экипажа кто-либо запустит доской. Изредка раздавались залпы, вероятно, для острастки. На другой день пошли осматривать дело рук своих. Везде валялись обломки столов, рам, битое стекло, пух из офицерских подушек. В экипажах почти ни одного целого стекла. Офицерские квартиры и помещение суда представляли ужасное зрелище. В некоторых квартирах офицеров совсем выбиты рамы, и только беспомощно болтается занавеска, в других рамах застряли пудовые камни. В суде ни одного целого окна. Ворота выломаны, устои для ворот тоже. Все вместе выглядело, как будто выдержало жаркую бомбардировку... Через несколько дней начались аресты предполагаемых зачинщиков, потом суд над ними, и в результате каторга и арестантские роты» [1].

Это первое массовое движение, хотя и вылившееся в самую бессознательную форму, имело большое значение, так как оно

[1] «Социал-Демократ», 1905 г., № 13. «Революционная борьба в Черноморском флоте». Воспоминания бывшего матроса. Глава 6.

приучило матросов к мысли о возможности протеста. А тут наступило 9 января, гром которого докатился и до матросского уха. Работа усилилась; организация матросов все расширялась, удалось уже почти на всех кораблях создать организованные группы матросов.

Когда волны революционных событий стали подниматься все чаще и выше, когда поднялось грозное аграрное движение крестьянской массы, невольно среди этих групп стала зарождаться и мысль о восстании всего флота. В то время как среди громадной, разбросанной по всей России сухопутной армии русский царизм всегда мог найти несколько верных полков и с помощью их задушить солдатский бунт, успех матросского восстания зависел от поведения небольшой сравнительно части военных сил России, от Черноморского флота. Каждый взбунтовавшийся корабль представлял самостоятельную силу — крепость с огромным запасом боевого материала. Никакие сухопутные войска не могли справиться с ней; раздавить ее можно только с помощью таких же морских гигантов, наполненных верными матросами.

Но матросам, жившим всем в одном городе, сталкивавшимся ежедневно друг с другом, ясно было, что все товарищи недовольны, что все товарищи сочувствуют восстанию, что ни один корабль не будет действовать против восставших. И потому-то психологически понятно, что при революционном настроении севастопольской казармы, матросы могли сделать тот шаг, на который так тяжело и трудно было решиться солдатам.

Севастопольские товарищи хорошо поняли особенность положения. Они поняли, что, сделав одновременно решительные шаги на всех кораблях, они легко смогут поднять всеобщее восстание. И сообразно с этими соображениями, они составили план его.

Восстание должно было вспыхнуть на Тендре, пустынном острове, куда ежегодно выезжает на маневры эскадра. Ночью, в заранее условленный час, на всех кораблях участники заговора бросятся на спящих офицеров, свяжут их, сорвут погоны и об'явят республику. Когда вчерашние царьки будут всюду валяться поверженные в прах, когда матросы увидят, как легко было справиться с теми, кто так долго одурманивал их, вырвется накипевшая злоба, все они присоединятся к восстанию, и мощная боевая сила—эскадра—будет в руках революции.

Главным препятствием для осуществления этого плана был «Потемкин». На нем почти не велась агитация, команда его считалась самой отсталой, а это был самый сильный броненосец Черноморского флота, который мог погубить все дело восстания. Но вот и здесь стала назревать мысль о бунте. За несколько дней до выхода в море «Потемкина» Севастопольский комитет социал-демократической партии получил письмо от команды «Потемкина», в котором она спрашивает, не принесет ли она вреда революции, если поднимет восстание. Не желая раз'единять действия матросов, комитет просил потемкинцев не предпринимать ничего до начала действия на других броненосцах.

«Потемкин» вышел в плавание. Состав его команды не особенно благоприятствовал восстанию; почти половина матросов состояла из новобранцев последнего года. Они только-что пришли из деревни, где тогда еще не началось аграрное движение; суровая дисциплина оглушила и прибила их, а революционная пропаганда еще не захватила их; систематические издевательства казарменного строя еще не родили в них такой глухой ненависти к офицерам, какая была у старых матросов. В то же время в них не было еще и матросской удали и презрения к смерти, составлявших неотъемлемую принадлежность старых матросов. Остальная масса также наполовину состояла из матросов призыва последних годов, и только небольшая группа, человек в сто, состояла из старых матросов. Эта группа и представляла самую решительную часть команды: из нее вышли члены «комиссии» и все вожди восстания. Итак, матросы «Потемкина» далеко не были самым революционным ядром Черноморского флота. Вот почему тем сильнее подчеркивается революционное значение Потемкинского восстания.

«Потемкин» вышел в плавание. Команда слыхала что-то о готовящемся восстании флота; среди матросов ходили неясные, тревожные слухи; они вспоминали о социал-демократических прокламациях, речах; вспоминали хорошие слова о царстве свободы и труда. Вспоминали также и жизнь в деревне,—жизнь, полную горя, тоски, лишений и невзгод; думали и о тех, кто делал их жизнь невыносимо-тяжелой, думали они и о казарме, и об офицерах, паразитах-дворянах, как злой рок преследующих их тут так же, как и в деревне. Вспоминали они и о тысячах рабочих, убитых в Петербурге; слушали рассказы определенных на «Потемкин» матросов — героев Чемульпо, которых теперь так же, как и их, били и грабили те же офицеры, которые пустили ко дну сотни братьев их. Слушали и думали...

Из Одессы приходят вести, что рабочие и крестьяне поднялись и борются против царских слуг, что они изнывают в борьбе и проклинают своих собственных братьев в солдатских куртках. Сердца встрепенулись, мысль работает живей; ученье кажется бессмысленней, гнет ужасней. Снова приходят слухи о готовящемся восстании матросов, но прибитая мысль не смеет еще перейти страшную черту, и ружья, направляемые до сих пор офицерами в народную грудь, не смеют еще обратиться против самих насильников. Нужен толчок, нужен вызов тиранов и смелый шаг кого-нибудь из массы, — и последние не замедлили явиться.

Привезли мясо для изможденных, измученных людей; оно было полно червей, и от него несло отвратительным зловонием [1]. Ропот негодования проходит среди послушных до сих пор рабов и доходит до ушей начальства, не привыкшего считаться с желаниями матросов.

---

1 Пишущий эти строки лично видел, по приезде на броненосец, остатки этого отвратительного мяса.

Судовой врач исследует мясо и находит, что оно прекрасного качества; командир дает приказание приготовить борщ из червивого мяса с отвратительным запахом. Безумец, ослепленный силой штыка, он не видит, что стоит на вулкане, готовом взорваться.

Прозвонили обед. Молча уселись матросы на своих местах, взяли по куску хлеба и ели его, запивая водой. Никаких требований, никаких протестов.

Но привыкшие к наглой и безграничной власти, всю жизнь топтавшие в грязь достоинство матросов, насильники не могут перенести и этого молчаливого протеста.

Гремит барабан, созывающий матросов на шканцы [1]; быстро собираются они и скоро стоят уже, выстроенные в ряды. Командир становится на кнехт [2] и обращается к матросам с речью.

— Знаете ли вы, чем карается бунт на военном корабле? Видите эту рею? Все вы будете висеть на ней. Поэтому не бунтуйте и кушайте борщ; кто хочет есть борщ,—переходи направо!

Но только 12 человек последовали этому приказу; остальные молча стояли. Ни один звук не раздался в этой толпе, только глаза всех зловеще блестели.

И «старый волк» устрашился; готовое сорваться с уст его грозное приказание о расстреле остановилось.

— Ну, ладно, — ответил он, — не хотите есть борщ,—не надо. Я запечатаю его в бутылку и передам дело на рассмотрение главному командиру; пусть он рассудит нас.— С этими словами командир сошел с кнехта и дал приказ команде разойтись.

Но тут выступил новый палач — старший офицер Гиляровский.

— Стой! — крикнул он уже начавшей расходиться команде.— Боцман, вызови караул наверх!

Раздался свист, послышался топот бегущих матросов, и через минуту караул стоит против безоружной команды. Перед видом заряженных ружей, блестящих штыков, души самых смелых содрогнулись.

— Кто хочет есть борщ,—переходи направо, — повелительно звучит голос Гиляровского, рассекая тишину, повисшую в воздухе.

Передний ряд дрогнул... и перешел на указанное место; за ним второй ряд, и скоро уже вся команда двигалась туда.

Гиляровский торжествовал, но этого мало было насильнику: он хотел раз навсегда отбить у этих «скотов» охоту чувствовать себя людьми. Соскочив вдруг с кнехта, он бросился к команде и загородил дорогу последним тридцати матросам.

— Стой! Эти не хотят есть борщ! Боцман, принеси брезент, а вы расходитесь, — прибавил он, обращаясь к команде. Но матросы стояли, не двигаясь; лица их были бледны, глаза с ужасом глядели на товарищей, которых будут сейчас расстреливать, как

---

[1] Шканцы — открытая площадка на носовой части корабля. На ней находится башня с двумя 12-дюймовыми орудиями.

[2] Кнехт — небольшой железный столбик для зацепки каната.

баранов; где-то раздался плач и сдавленное рыдание. Но ослепленные страхом, они не смеют еще поднять руки против убийц.

— Ну, что ж не идете, собаки? — снова кричит Гиляровский.

Принесли брезент, накрыли матросов.

— Караул, пли!

Все притихло, ожидая чего-то ужасного... Но караул стоит неподвижно.

— А, бунт? — кричит Гиляровский. — Стойте, я вам покажу, как бунтовать.

С этими словами он бросился к ближайшему караульному и выхватил у него винтовку.

— Ребята, хватай винтовки! Что на них смотреть, окаянных!— раздалось в ту же минуту в толпе матросов.

Команда только ждала этого сигнала; словно ток прошел через нее: она зашаталась и с ревом бросилась в батарейную палубу [1] за винтовками.

Через минуту корабля нельзя было узнать. Масса людей бегала, суетилась; могучее «ура», крики «долой самодержавие», «бей кровопийц» неслись с батарей; где-то начали стрелять. Только на шканцах было пусто; пять, шесть офицеров стояли тут бледные, не понимая еще хорошо, что случилось.

Первыми выступили из батарейной палубы матросы Матюшенко и Вакулинчук. Матюшенко побежал за убегавшим лейтенантом Неупокоевым, стреляя в него на ходу. Вакулинчук без винтовки бросился к Гиляровскому, целившемуся в матросов. Желая спасти товарищей, он схватил винтовку за дуло и силился вырвать ее из рук Гиляровского. Последний выстрелил, и Вакулинчук упал навзничь в тот самый момент, когда винтовка была уже в его руках. В это время подбежал Матюшенко и выстрелом из винтовки ранил Гиляровского; тот зашатался и упал в воду. Но, уже падая в воду, этот безумец еще не понимал, что происходит.

— Я тебе дам, — крикнул он Матюшенке, — ты у меня будешь знать, как команду бунтовать! Я тебя знаю! Я тебя запишу!

А на корабле царит хаос и возбуждение. Крики «долой самодержавие», «ура» перемешиваются с залпами матросов и воплями офицеров. Многие из последних бросаются в воду, и по ним открывают огонь.

В одной рубашке выскакивает на палубу командир Голиков, думая броситься вплавь к миноноске. При виде матросов он бросается на колени и униженно просит о пощаде. Но слишком долго издевался он над матросами, слишком много зла сделал он им; возмущенное достоинство требовало мести за все унижения, и Голиков пал жертвою народного суда.

Вдруг кто-то крикнул, что один из офицеров бросился в минное отделение, чтобы взорвать броненосец.

---

[1] Батарейная палуба — закрытая толстой броней надстройка на середине броненосца. В ней находятся входы в машинные и минные отделения.

Слепая паника овладевает матросами; многие из них бросаются в воду прямо под выстрелы, которые были направлены командой в плывущих офицеров. Самые решительные бросаются в минное отделение и вытаскивают оттуда лейтенанта Тона.

— Если хочешь быть с нами, сними свои погоны, — обратился к нему Матюшенко.

— Дурак, не ты мне их дал, не ты их снимешь, — отвечал он и выстрелил в Матюшенко из револьвера.

Пуля пролетела мимо, и в ту же минуту Матюшенко застрелил его. Это был единственный офицер, умевший умереть за свою честь.

Между тем некоторые офицеры доплыли до миноноски, и последняя стала вдруг странно маневрировать. Снова на броненосце паника: кричат, что миноноска хочет взорвать корабль. Немедленно заряжают большую пушку и направляют ее на миноноску, но оттуда матросы дают сигнал, что у них нет мины, и этим спасают себя.

Затем они арестовали офицеров и привезли их на корабль. Но уже раздались голоса против дальнейших убийств; уже прошел первый гневный взрыв, долголетняя ненависть нашла себе выход, и кто-то крикнул: «Довольно убийств! Пусть не говорят, что мы похожи на наших „иродов"». Все матросы подчинились этому требованию.

Стали отыскивать попрятавшихся в углы офицеров. Откуда-то приволокли священника. Пьяный угар сошел с лица этого почтенного, обычно нетрезвого мужа; он испуганно водил кругом глазами и смиренно бормотал о каком-то согласии с матросами. Его отправили под арест в офицерскую. Доктора Смирнова нашли где-то застрелившимся; он едва дышал и просил матросов дать ему спокойно умереть. Труп его выбросили в море.

На щите [1] нашли инженера Коваленко, мичмана Калюжного и еще одного офицера. Нескольких офицеров нашли в адмиральской. Со всех сняли погоны, посадили в офицерскую кают-кампанию и приставили стражу.

Появился и Алексеев.

— Не убивайте меня, я всегда с вами, — обратился он к команде.

Алексеев действительно всегда обходился хорошо с матросами, и последние только сняли с него погоны.

Наконец, покончили с разрушением старого порядка; теперь надо было создавать новые формы, новую организацию. Привели в порядок корабль и созвали команду.

Впервые свободные речи полились на этом корабле, где до сих пор раздавались лишь грубые окрики офицеров и сдавленные проклятия унижаемых матросов. Говорили о борьбе за свободу, о поддержке восстания всей эскадрой, об одесском вос-

[1] Щит — железное приспособление, служащее прицелом для стрельбы из орудий во время маневров.

стании, о необходимости итти туда, до присоединения эскадры. Но пока она не появится, все матросы будут оставаться на корабле, который даст им могучее убежище. И прежде всего нужно выбрать начальство, — не то начальство, которое мучило и унижало матросов, а начальство, состоящее из товарищей, любимых и уважаемых. Надо, чтобы на броненосце были порядок и дисциплина, поддерживаемые добровольным согласием и любовью к делу.

Избрали тридцать матросов, из которых составилась комиссия — орган власти на корабле. Она заведывала всеми действиями матросов, бесконтрольно распоряжалась всеми деньгами броненосца, могла издавать приказ об аресте и вести переговоры с властями и организациями. Словом, она могла быть полномочным органом корабельной власти. Но фактически она не была таковым; только в первые дни она решала все по собственному усмотрению. В последнее же время ее влияние сильно упало. Но и в дни наибольшего авторитета своей власти она не решала сама наиболее крупных выступлений, а передавала их на рассмотрение всей команды. В последние же дни общие собрания устраивались все чаще и чаще.

Комиссия при этом рассуждала вполне правильно: если мы хотим, чтобы масса стойко стояла, чтобы она сознательно относилась к своим обязанностям, нужно вовлечь ее в управление кораблем; нужно воспитывать ее самодеятельность и приучать ее к мысли о необходимости самой стоять за себя, быть своим собственным хозяином.

Поэтому и заседания комиссии были гласные, и на них всегда присутствовало 100—200 человек. Эта масса, бывшая на заседаниях, не относилась пассивно к ним; она выражала свое одобрение или неодобрение речам ораторов, часто высказывала свое мнение и почти всегда голосовала.

Таким образом, фактическим руководителем корабельной жизни была не только комиссия, но и значительная и наиболее сознательная часть команды.

Исполнительную власть вручили прапорщику Алексееву и боцману Мурзаку. Первого назначили командиром, второго — старшим офицером.

В своих первых революционных шагах бессознательная масса всегда руководствуется двумя побуждениями: революционным инстинктом и старыми традициями. Первый заставляет ее порвать с прошлым и создать новые учреждения; власть вторых требует себе дани. История давала немало таких примеров.

«Потемкин» не представлял в этом отношении исключения: и его команда, создав новое революционное управление — комиссию, отдала в то же время дань старым традициям: они говорили ей, что командовать судном должен офицер, и матросы назначили себе в командиры ничтожного Алексеева.

Я говорю так вопреки тому мнению, что это было необходимо, что никто, кроме Алексеева, не умел вести корабль. Это

противоречит фактами: броненосец всегда вел не Алексеев, а матросы. Алексеев же почти не заведывал им, а если брал на себя командование, то только для того, чтобы внести расстройство и дезорганизацию в действия матросов.

Это было ничтожество. Испугавшись, чтоб его не убили, он стал убеждать матросов в своей всегдашней с ними солидарности; из этого же страха он принял командование кораблем; но, сделав этот шаг, он стал бояться другого возмездия — наказания правительства. И тогда он замыслил измену восстанию, но, как ничтожество, не решился действовать открыто и лично. Он действовал исподволь и через других. Когда на собрании обсуждался вопрос, стрелять или не стрелять в город, он не проронил ни одного слова, несмотря на усиленные просьбы матросов высказаться. Но однажды, в минуту смятения, он пустил через кого-то предательское слово «Румыния». Боясь командовать судном, он не решался открыто отказаться от этого и сказался больным. Но в тот момент, когда подходила эскадра, он принял командование в надежде предать нас.

Это не был сознательный провокатор (в роде доктора Голенко), оставшийся на корабле специально для того, чтобы предать команду,—для этого он был слишком ничтожной личностью. Но он действовал предательски, чтобы спасти свою маленькую жизнь. И если б история не сыграла с ним такой шутки, сделав его руководителем восстания, он остался бы, вероятно, честным человеком. И, глядя на его натуришку, невольно вспоминаются бессмертные слова Э. Золя: «Какие подлецы эти честные люди!»

Такому ничтожеству вручили власть матросы. Им необходимо было, чтобы власть находилась в руках офицера, чтобы таковой был вождем их. Они ненавидели «кож»,—так называли матросы офицеров,—но все-таки авторитет их был силен. Вспоенные долгими годами казарменной службы предрассудки не так легко рушатся; они имеют таинственную силу над людьми даже тогда, когда последние уже восстали против них.

Алексеев и Мурзак должны были давать отчеты о своих действиях комиссии и исполнять все ее приказания. На самом же деле эти господа в самые решительные минуты оказывались удивительно бездеятельными, нерешительными и тем вносили сильную дезорганизацию в ряды матросов. А между тем, от этих решительных минут зависел исход восстания. Чтобы исправить эту слабую сторону нашей организации, я предложил избрать из среды комиссии исполнительный комитет, который заведывал бы вместе с нашими командирами исполнительной властью. Мы провели туда самых преданных революции людей. Но они были лишены инициативы, и власть все-таки находилась в слабых руках.

Для того, чтобы победить, нам нужен был вождь — сильный, решительный человек из морской среды.

Его не было.

Покончив, наконец, с организацией новой власти на корабле, матросы решили отправиться в Одессу под защиту революционного народа. Собственно, они не понимали ясно, почему они идут в Одессу, что ждет их там. Бессознательно шли они туда, повинуясь революционному инстинкту, говорившему им, что там народ бунтует и окажет им помощь. Это был тот же инстинкт, который заставил их выше поднять свои головы, лишь только услыхали они о бунте в Одессе.

IV. «ПОТЕМКИН» В ОДЕССЕ.

— С броненосца нам сходить нельзя; вот эскадра придет, — тогда другое: и десант высадим и город возьмем; а сейчас нельзя.

Эскадра! Как маяк в ночи, это слово заколдовало мысль матросов; они — только передовой отряд эксадры, их восстание — только первый авангардный бой; без эскадры они — ничто; с эскадрой они— несокрушимая сила. И так же, как велика эта сила, так же несокрушимо убеждение, что эскадра присоединится.

— ...В таком случае вооружите народ. У вас есть пулеметы, на случай боя с эскадрой ваша боевая способность не уменьшится, если вы отдадите народу свои пулеметы и несколько пушек мелкого калибра. Отдайте это оружие рабочим, они еще до прихода эскадры завладеют городом.

И снова холодный блеск в глазах и снова упорное:

— Без эскадры нам нельзя; мы вместе со всем флотом; столько ждали нас,—подождете еще несколько дней.

Это была страшная минута, близкая к разрыву между мною и комиссией. Мы стояли друг против друга, каждый со своей правдой: для меня эскадра была неизвестной величиной, далекой, неясной мечтой; для них, этих тридцати моряков, возглавлявших потемкинское движение, эскадра была составной частью их революционного действия. Для меня реальностью были лишь эти революционные массы там на берегу, с которыми три дня я бился на баррикадах; и то, что было для меня реальностью, то было для них, загипнотизированных еще солдатской муштрой, подозрительным и ненадежным миром «вольных».

Еще одно движение с моей стороны, — и глухое недоверие положит непроходимую между нами пропасть.

Мне пришлось отступить.

Работа среди рабочих масс и весь богатый уже опыт революционного движения 1905 года научили меня выдержке и терпению. Я знал, как быстро революционные события изменяют положения вещей. 8 января петербургский пролетариат был весь еще охвачен гапоновщиной; 8 января, вечером, на рабочих собраниях в Петербурге еще неохотно слушали социал-демократов; 9 января, на рассвете, петербургский пролетариат выступал еще с иконами, хоругвями, веря в царя; в тот же день, вечером, он

разбил иконы, проклял свою веру в самодержца и с жадностью слушал революционеров.

Я знал, что события неумолимой логикой своей толкнут матросов на путь береговой революции, и я понимал, что в эту минуту, когда матросское восстание сольется с рабочим, мы, революционные социал-демократы, станем вождями ее. Чтобы не погубить этого часа, я должен был остаться здесь и вести свою линию в обстановке чисто военного восстания. Разорвать сейчас же с матросами «Потемкина» только потому, что их сознание не доросло еще до нашей революционной мысли, было бы равносильно революционному самоубийству.

И я остался... Но остался с тем, чтобы мертвой хваткой вцепиться в это дело, чтобы ежеминутно пользуясь каждым событием военного восстания, расширять его и звать матросов на берег, заставить их понять, что только с рабочим классом они сумеют свергнуть царизм.

Но как мучительны, как бесконечно тяжелы эти воистину Танталовы муки: пережить эту бесконечно щемящую тоску по оружию, которую мы испытали накануне в Одессе, видеть эти тысячные массы, готовые дать решительный бой царизму, держать почти в руках эту грозную вооруженную силу восставшего броненосца, ясно видеть эту неповторяемую, точно подаренную нам историей ситуацию, понимать, что одного нашего движения достаточно, чтобы завладеть одним из важнейших русских городов с богатейшими материальными и человеческими ресурсами, понимать, что каждая минута нашего бездействия смерти подобна, — и отказаться от этого дара истории, оставаться среди этих друзей-врагов, нашедших дивный ключ к революционной победе и не желающих отомкнуть им заветную дверь.

Мне и двум другим товарищам — Кириллу и Афанасию (о них речь будет впереди)—пришлось призвать на помощь всю нашу выдержку и революционный такт, чтобы определить нашу линию поведения, которая диктовалась двумя соображениями: неизменно стремиться к превращению Потемкинского восстания в береговую революцию и цепко держаться за наше положение на корабле, ни в коем случае не допуская разрыва между нами и матросами.

Агитация была нашим вернейшим союзником; необходимо было немедленно приняться за нее; я попросил созвать свободную от работ часть команды, чтобы высказаться перед ней, и поднялся наверх.

Удивительная картина раскрылась перед моими глазами. Десятки тысяч людей наполняли эстокады и набережную огромного одесского порта; по гигантской лестнице, соединяющей порт с орлиной вышкой Николаевского бульвара и дальше вдоль замечательных эспланад Одессы спускались неисчислимые массы манифестантов с красными знаменами; тысячи шлюпок бороздили огромную поверхность гавани,—то одесский пролетариат совершал паломничество к революционному кораблю. Плыли

целыми семьями, отцы гребли, а матери держали на руках детей. И все везли «гостинцы» матросам, купленные на последние крохи: табак, чай, сахар и т. п. Рядом с броненосцем на большом угольщике копошились сотни рабочих: то были «счастливцы», которым удалось попасть на погрузку угля для броненосца. Матюшенко рассказывал мне, что, когда он в порту крикнул клич, нет ли желающих помочь матросам погрузить уголь, то тысячи рабочих бросились на угольщик, почти кулаками прокладывая себе путь.

Освещенные яркими лучами торжествующего южного солнца, на фоне смеющейся морской синевы, все эти радостные возбужденные толпы создавали впечатление какой-то величественной революционной литургии.

Теперешняя молодежь, которая выросла на завоеваниях революции и привыкла видеть ежегодно мощные пролетарские праздники, быть-может, и не почувствует великого экстаза этого дня. Но кто помнит времена царизма, а особенно лютые времена царизма до 1905 года, кто помнит эту гранитную скованность жизни, когда появление горсточки манифестантов уже через пять минут вызывало свист казацкой нагайки и сухой треск солдатской винтовки,—для того эти часы, когда все население большого города на глазах царских властей открыто манифестировало на суше и на море, должны встать, как видение революционного чуда славного 1905 года. Дорого заплатили одесские рабочие за этот праздник: 600 жизней оставили они в ту ночь в одесском порту.

И вы, современная молодежь, гордо идущая к строительству новой России, помните о могучих богатырях 1905 года, которые своей отвагой и кровью пробили первую брешь в твердыне самодержавия и открыли путь к революционной России!

Удивительна эта солдатская муштра,—как умела она изменять людей, вырабатывать в них кастовый дух!

Матросы «Потемкина» подняли восстание. Несмотря на чисто солдатский повод (инцидент с червивым мясом), восстание это с самого своего возникновения носило революционный характер: матросы ждали восстания всей эскадры против царизма; восстав, они не остались ждать эскадры на Тендре, а отправились в Одессу, потому что там была революция, и для того, чтобы связаться с революционным народом.

И когда эта помощь пришла, когда десятки тысяч рабочих наполнили порт в ожидании высадки матросов, когда необычайный по своему размаху взрыв энтузиазма показал матросам могучую солидарность рабочих масс, старая солдатская муштра заставила их оттолкнуться от рабочих и замкнуться в своем военном одиночестве.

В 5 часов вечера по приказу комиссии удалили всех «вольных» с корабля, подняли трап и выслали «восьмерки» с приказом никого не пропускать больше к броненосцу.

Матросы искали революционных вождей. На первом же заседании комиссии, происходившем еще на пути в Одессу, было

Броненосец «Потемкин-Таврический» на одесском рейде.

постановлено связаться с рабочей партией. Матюшенко бороздил гавань на паровом катере в поисках социал-демократов, а когда официально уполномоченные об'единенного совещания социал-демократических организаций явились на броненосец в числе двенадцати человек, матросы заявили им, что «такое большое количество вольных не может оставаться на корабле», и просили избрать из своей среды трех представителей для дальнейшего руководства восстанием.

Занятый агитацией среди матросов, я не присутствовал на заседании делегатов об'единенного совещания с потемкинской комиссией. Когда я зашел в адмиральскую, где происходило заседание, оно уже приходило к концу. Увы! наши представители сдали позиции матросам,—сдали, как я узнал об этом после, без малейшего сопротивления. Они приняли безоговорочно план военного восстания, т.-е. согласились с матросами, что нужно ждать присоединения эскадры. Я не понимал, как могли наши представители согласиться выпустить из своих рук инициативу революционного действия; я не мог согласиться с ними, что успех восстания надо поставить в зависимость от присоединения эскадры, но я попал на заседание слишком поздно, чтобы снова поднять этот вопрос. А сколько надежд я возлагал на прибытие делегатов, на их властное решительное заявление к матросам от имени рабочей партии о необходимости открыть немедленные действия против береговых властей! И хотя было много шансов за то, что матросы не исполнили бы этого приказания, но такое заявление значительно облегчило бы дальнейшие действия той «тройки», которую наши представители оставили на корабле для руководства восстанием.

В эту «тройку», кроме меня, вошли товарищи Кирилл и Афанасий.

Кирилл (Бржезовский) заведывал до Потемкинского восстания Каменоломенским районным комитетом Одесской организации РСДРП. Рослый, с окладистой русой бородой, с мягкими и правильными чертами лица, Кирилл обладал внешностью удивительно импонирующей рабочим массам. Его прекрасная русская речь, изобилующая народными прибаутками, проникнутая яркими и в то же время доступными образами, делала из него первоклассного рабочего агитатора. Выходец из интеллигенции, он, однако, великолепно знал и понимал свою аудиторию и в простых, подчас грубых приемах его речи не чувствовалось никогда дешевой подделки интеллигента под рабочего. И свою неизменную русскую косоворотку он умел носить «по-настоящему»; так умел носить ее из русской интеллигенции один только Лев Толстой. И потому в то время, как остальные подпольники должны были шикарно одеваться для того, чтобы не привлекать к себе внимания шпиков охранного отделения, для Кирилла его русская рубашка служила лучшей конспиративной броней. Выбор Кирилла — выдержанного агитатора и хладнокровного и опытного организатора — был очень удачен.

Впрочем, и Кирилл, и я своими выступлениями перед матросами успели уже завоевать их симпатии, и об'единенное совещание отчасти этим руководствовалось, назначая нас на столь ответственные посты. Товарищ Афанасий—член Одесского комитета (большевиков)—имел за собой долголетний революционный опыт. Он много работал в военных организациях, был прекрасным организатором, превосходным тактиком.

Кирилл и Афанасий разделяли мой взгляд на дальнейшее развитие событий; поэтому, приняв на себя задачу, порученную нам об'единенным совещанием, мы заявили делегатам, что независимо от прибытия эскадры и ее будущей позиции, мы будем звать матросов на берег. Товарищи не возражали против этого; они заявили, что вполне доверяют нам, и предложили нам действовать по нашему усмотрению; мы удовлетворились этим заявлением, не разобравшись тогда, что в сущности оно означало фактический отказ социал-демокр. рабочей партии от руководства восстанием, ибо все дальнейшие события на берегу ставились в зависимость от действий броненосца. Такие выводы, как это увидит читатель из следующей главы, и сделали фактически уехавшие товарищи из нашей беседы.

Одесские организации не только отказались в дальнейшем от революционных действий на берегу, — они не пытались даже снестись с нами и оказать нам помощь свежими силами для выполнения той тяжелой задачи, которая была взвалена на наши плечи.

Жизнь военного корабля ни на одно мгновение не останавливалась на «Потемкине». Матросы, отказавшись покинуть корабль и сойти на берег, чтобы вместе с рабочими завоевать город, повиновались властному сознанию, что военный корабль со своими порядками, со своим удивительным механизмом, представляет несокрушимую силу, пока его механизм, раз заведенный, движется с безошибочной точностью. Утром грузили уголь, потом мыли палубу, чистили орудия, проверяли машины, дежурные стояли на вахте, караул на своих постах; вино пили в урочное время в положенной норме, и вахтенные строго следили, чтобы кто-нибудь не подошел второй раз к чарке; церемония поднятия флага продолжалась с обычной методичностью; отменены были вечерние и утренние молитвы.

Само собой разумеется, что вся эта дисциплина зиждилась не на наказаниях (они были совершенно отменены), а на сознательном и выдержанном отношении к своему делу. Великая трезвость духа — так можно было характеризовать настроение этих матросов, отважно бросивших вызов самодержавию и гордо замкнувшихся в свое военное одиночество. И это было по-своему прекрасно.

— Эскадра!

Не знаю, кем было брошено это слово, но только сразу обнаружилась вся магическая сила, связанная с ним: все, кто не стоял на вахте, все, кто был свободен от работ, бросились к борту, на башни, на вышки.

Тревога, однако, оказалась напрасной: то был только военный курьер, небольшое безоружное судно «Веха». И вместо ожидае-

мой трагедии боя с эскадрой, через полчаса разыгралась веселая, насмешившая матросов комедия захвата «Вехи» и разжалования ее перетрусивших офицеров.

Покуда свозили на берег офицеров с «Вехи», мы с товарищем Афанасием выработали программу нашего первого выступления на общем собрании команды, которое было назначено на 8 часов вечера. К этому времени на броненосце побывали уже депутаты от Измайловского и Донского полков и батальона таможенной охраны с извещением, что части их присоединятся к матросам, как только последние начнут решительные действия против города. Таким образом, мы могли уже обещать матросам реальную поддержку на берегу.

Наконец, кончили работы, спустили флаг, протрубили сбор. Команда собралась в батарейной палубе. В закрытом тесном помещении было душно и жарко; матросы разместились амфитеатром; в центре круга находился Алексеев, матрос Дымченко, Матюшенко, товарищ Афанасий и я. Собрание открыл матрос Дымченко — бессменный председатель этих общих собраний, никогда никем не избираемый и раз навсегда всеми молча признанный. Это был один из самых преданных делу революции матросов. В нем была какая-то наивная смелость и открытая честная вера в людей. И теперь не могу я вспомнить без теплого чувства его низкого грудного голоса, говорившего свое неизменное: «Вот, товарищи, хороший человек хочет вам слово сказать; а ну-ка послушаем его». Он готов был броситься в огонь и в воду за этого хорошего человека, готов был в любую минуту отдать свою жизнь за общее дело; но этот мужественный солдат, которого мы провели потом в Исполнительный Комитет, лишен был инициативы и в решительные минуты терялся; терялся из-за сознания той ответственности, которая лежала на нем; терялся потому, что от его действия зависела жизнь товарищей. И он не способен был тогда на действия, идущие вразрез с настроениями массы. Он не мог быть вождем, а жизнь навязала ему эту роль.

Дымченко дал мне слово.

— Долой вольных! — раздались в ту же минуту голоса.

То кричали кондуктора, сверхсрочные матросы-специалисты, оставшиеся на корабле по вольному найму после отбытия воинской повинности. В фельдфебельском чине, кондуктора получали высокие оклады и были душой и телом преданы начальству. Неудивительно поэтому, что они составляли оплот контрреволюции на «Потемкине»; в то же время кондуктора, постоянно жившие среди матросов, хорошо знали их; со многими из матросов у них были прочные дружеские отношения, и им нетрудно было, опираясь на Алексеева, быстро сорганизоваться в хорошо сплоченную контр-революционную группу. И в то же время было очень трудно отказаться от них и высадить их на берег, потому что кондуктора были тонкими специалистами своего дела; даже при наличии офицерского состава, они фактически вели корабль;

отсутствие офицеров еще выше подняло их значение, как военных специалистов.

Теперь они открывали свою кампанию против нас.

— Долой вольных!

Наступила критическая минута: если мы сейчас не заставим команду выслушать нас, наше дело проиграно. Теперь или никогда.

Афанасий нашелся. Он встал и громко и внятно произнес:

— Матросы! Вы не смеете не выслушать нас: мы говорим не от своего имени, а от имени всего русского рабочего люда. Вы, сыновья этого народа, должны выслушать его слово. Если не согласитесь с нами, мы уйдем; но выслушать нас вы должны. Именем народа требуем мы этого!

Эти слова произвели на матросов сильное впечатление; многие стали кричать о том, чтобы выслушать нас; кондуктора кричали против. Но все-таки первые одержали победу, и мне дано было слово.

Я не помню точно, сколько времени я говорил, кажется, часа два. Я начал с бунта на «Потемкине» и с солдатской жизни.

Я об'яснил матросам, что дело не в борще, а в условиях; дело не в офицерах, а в строе, который гарантирует офицерам неприкосновенность за полный произвол. Им дадут сегодня лучший борщ, лучших начальников, а завтра их снова будут кормить червями и пулями. Нужно иметь гарантию против произвола. При самодержавном режиме это невозможно.

Матросов каждую минуту могут погнать на войну. Кому нужна нелепая война с японцами? Самодержавию! Значит, нужно бороться с ним. Как же это сделать? Могут ли матросы своими силами победить его? Нет! На кого же они должны рассчитывать? Единственно на народ. Присоединится ли еще эскадра — вопрос, а народ сейчас с ними.

Я рассказал, как страдают рабочие и крестьяне, рассказал, как эти страдания вынудили рабочих пойти к царю. Царский ответ—свинец и нагайка. Борьба всего народа против царя. Русский народ уже ведет страшный бой против царизм, и в этом гарантия помощи его матросам. Соединение с ним — победа, без него — поражение. Одесские рабочие уже сегодня показали, что до последней капли крови они будут защищать матросов.

Матросы «Потемкина»—первые военные, решившиеся перекинуть мост между казармой и народом. Пусть же пойдут они смело по этому мосту и, слившись с народом, в могучей борьбе завоюют ему свободу. С народом, на смертный бой, за свободу!

По мере того, как я говорил, настроение росло. Этому немало способствовало то, что я заставлял массу участвовать в моей речи и после каждого положения спрашивал ее, верно я говорю или нет.

Сначала она отвечала нерешительно, как бы боясь согласиться с этими чужими «вольными» людьми, как бы боясь, что они заведут ее в какую-нибудь ловушку. Но чем дальше, тем дружней подхватывала она «верно» и даже вставляла собственные замечания, а конец моей речи подхватила могучим, долго не смолкавшим «ура!». Особенно сильно подействовал на матросов рассказ о 9 января; Афанасий говорил, что многие матросы плакали, услышав от меня подробности страшного предательства царя.

Настроение переменилось в сторону, благоприятную нам. Теперь ни один изменник не смел крикнуть «долой вольных», и матросы просили, чтобы еще кто-нибудь из нас говорил. Но страшная духота не позволяла нам оставаться дольше в батарейной палубе и решено было перенести собрание на шканцы.

Мы вышли на открытую палубу. Стояла свежая, темная ночь; лучи прожектора, радостно прыгая, рассекали тьму. Тут мы нашли Кирилла, вернувшегося с «Вехи». Я рассказал ему о просьбе матросов, и он, став на кнехт, начал говорить. Звучно раздавался в ночной темноте его голос, и казалось, что это луч света пронизывает такую же темноту, окружавшую до сих пор этих забитых людей. Его речь была как бы продолжением моей. Он говорил об Учредительном Собрании, об экономических и политических требованиях рабочих и крестьян.

Сочувствие было уже на нашей стороне; но все-таки нам предстояло еще много работы: надо было глубже познакомить матросов с нашим учением. Для этого нужны были новые силы. Нужно было целые дни вести пропаганду среди матросов и осветить им многие неустройства нашей жизни. Мы вели агитацию вширь,— надо было углубить. Мы поднимали настроение, — надо было закрепить за собой сочувствие, вызванное нашими речами. Но этого сделать мы не могли: нас было всего трое, а на нас лежало руководство восстанием. У нас не было физической возможности делать больше того, что мы делали, а этого было мало. Мы ждали помощи, а она не появлялась. В этом была тяжелая вина наших социал-демократических организаций.

Дудка, созывающая комиссию в адмиральскую, прервала дальнейшие речи. Гуськом вошли члены комиссии в адмиральскую и расселись на стульях вдоль длинного стола, за ними стояли матросы, не принадлежавшие к комиссии.

Нам предстояло решить вопрос об участи арестованных офицеров. Прежде всего решили выслушать трех офицеров, желавших присоединиться к восстанию. Под конвоем вооруженных матросов в адмиральскую были введены: доктор Голенко, мичман Калюжный, инженер-механик Коваленко.

Первым стал говорить Коваленко.

Это был совсем еще молодой человек с большими, светлыми волосами, с добрыми, мягкими чертами лица. По своим убеждениям скорее либерал, чем революционер, он обладал мягкой на-

турой, не способной к борьбе. Но великий момент народной революции пробудил в нем силу, и он стал в ряды борцов ее.

Переход на нашу сторону искреннего офицера мог бы сильно помочь успеху дела, но для этого ему нужно было отличаться решительностью, непоколебимой стойкостью. Для этого ему нужно было уметь ни перед чем не останавливаться; его голос должен был звучать всегда властно и решительно.

В речи Коваленко всегда была какая-то неуверенность. Его мягкая натура не могла примириться со всеми жестокостями восстания. Он готов был отдать свою жизнь народу, но звать к этому других, не останавливаться перед пролитием крови он не мог. И поэтому он не давал нам того, что мог бы дать как офицер.

Его речь дышала искренностью, но в ней, как и во всех его речах, не было силы вождя.

Затем говорил Голенко.

Совершенно лысый, беленький, чистенький, он производил впечатление настоящего выхоленного дворянчика.

В его речи, по общему содержанию тождественной с речью Коваленко, не было, однако, неуверенности последнего, но не было в ней и его искренности. От нее несло каким-то самодовольством и отчасти лестью матросам. Но во всяком случае в нем нельзя было угадать еще будущего провокатора.

Калюжный, молоденький, маленький, тщедушный мичман, сказал только несколько слов о желании присоединиться к нам.

Я часто спрашивал себя: что побудило его сделать этот шаг? В продолжение всего восстания Калюжный неподвижно лежал в офицерской на диване, вставая только для того, чтобы проглотить свой голодный обед. Его глаза всегда равнодушно блуждали по каюте, и что-то тупое и пришибленное было во всей его маленькой фигурке. Ясно было, что не из любви к свободе он остался на корабле; ни разу, даже при самых удачных шагах восстания, ни одного проблеска радости не видал я в его тупых глазах. Но и не желание провоцировать нас заставило его остаться на корабле: ведь лежа целые дни на диване, безучастно относясь к корабельной жизни, он ничего не мог предпринять против нас.

Только в тюрьме от судебного следователя узнал я о тайных пружинах его поступка. Ему грезилось, что город находится в руках революционеров и там его ждет справедливая месть народа. Все безнаказанные, совершенные во тьме застенка преступления его среды сразу заговорили о грядущей мести и наполнили таким страхом его молодую, быть-может, еще не согрешившую душу, что он потерял способность ясно видеть и мыслить.

Когда офицеры высказались, их вывели, чтобы вести прения в отсутствие их.

Я почувствовал какое-то инстинктивное недоверие к ним (может-быть, тут сказалось сложившееся годами предубеждение против офицеров) и энергично выступил против принятия их в наши ряды. Я задал такой вопрос: «Где они были тогда, когда

командир собирался расстреливать матросов? Почему тогда у них не заговорил голос совести и не заставил их броситься к командиру с требованием прекратить издевательства?!»

Но возражения моих товарищей и указание на то, что присоединение офицеров может принести нам большую пользу, а учреждением строгого надзора можно обезвредить их «ядовитые жала», заставили комиссию принять их предложение, и они были освобождены из-под ареста. Остальных же офицеров на другой день мы свезли на берег.

Не успел еще смолкнуть голос Алексеева, отдававшего приказ об освобождении офицеров, как в адмиральскую вбежал матрос и сообщить, что весь порт в огне. Заседание было прервано, и все мы побежали на шканцы.

Страшное зрелище открылось перед нашими глазами. Громадное зарево освещало почти всю бухту; куда ни падал взгляд, всюду он встречал гигантские огненные языки. Они взвивались все выше и выше, распространялись все шире и шире и как бы говорили о всепожирающей мести старого режима.

Безумные вопли неслись над этим морем огня; вдруг раздалось характерное «трра-тата».

«Стреляют в народ!»—вырвалось из всех грудей. И, как безумные, об'ятые ужасом за своих погибающих безоружных братьев, мы стали бегать кругом, не зная, что делать, что предпринять. Все были охвачены одним порывом: прекратить вакханалию, хотя бы ценой собственной жизни.

Но как? Стрелять в город? Куда? Разве можно было стрелять в этот ад? А если мы как раз попадем в своих? И рвущаяся вперед мысль билась в этом безысходном тупике.

Там были безумие и ужас, там гибли за нас; а мы, сильные, вооруженные, сложа руки, стояли в безопасности.

В этот страшный момент, когда самые трусливые делались львами, когда самые нерешительные готовы были итти на все, только бы спасти обреченных, Алексеев обрисовался во всем своем ничтожестве.

Когда, затаив дыхание, мы прислушивались к новым и новым залпам и когда после каждого крик отчаяния вырывался из наших грудей, он вдруг подошел к нам и сказал: «Да что вы глупости говорите; разве так стреляют? Это просто крыши от огня лопаются».

Заявление Алексеева, сказанное авторитетным тоном, несколько успокоило нас. Но скоро матросы опытным солдатским ухом различили выстрелы; и снова безумие овладело нашими душами. Как бы боясь этого ужаса, все говорили шопотом. Боялись громко вздохнуть, сказать громкое слово.

Так мы пережили эту кошмарную ночь; о сне никто из нас и не помышлял.

V. БОМБАРДИРОВКА ОДЕССЫ.

Рано утром следующего дня я отправился во главе депутации из трех матросов к главнокомандующему войсками гор. Одессы с требованием разрешить похоронить убитого во время бунта матроса Вакулинчука.

Кровавой жутью веяло теперь от территории порта: это была пустыня дымящихся развалин и полуобгорелых трупов. Их было так много, что нам приходилось осторожно шагать, чтобы не наступить на человеческие тела. От встречных рабочих мы узнали подробности вчерашней бойни.

Весь день в порту происходили собрания. У трупа Вакулинчука устроили трибуну: ораторы сменяли друг друга и в горячих речах звали народ на решительный бой с царизмом. Какой-то пьяный восторг господствовал тут: люди обнимались, снимали с себя все, что на них было, и отдавали в пользу общего дела. Кругом лежали громадные богатства, груды провизии, напитки, но ни одна рука не смела грабежом осквернить эти часы. Наоборот, всюду царствовал порядок и спокойствие. В одном месте какой-то хулиган стал кричать: «бей жидов», его тотчас же убили.

В 4 часа дня приехали на берег представители социал-демократических организаций, ездивших на броненосец. Один из них взошел на трибуну и, об'яснив, что матросы не сойдут на берег, просил рабочих мирно разойтись по домам и ничего не предпринимать до наступательных действий «Потемкина».

Рабочие стали медленно с пением «варшавянки» уходить из порта.

Но движение народа в порт не прекратилось. Навстречу уходившим рабочим шли тысячи обывательской публики. И они хотели побывать на первых народных собраниях, и их охватило общее воодушевление и выгнало страх из их трусливых сердец.

Но с уходом рабочих ушла из порта и та сила, которая поддерживала порядок и сознательность. Полиция не дремала и повела ловкую агитацию за разгром товаров. Скоро послышался стук разбиваемых бочек с вином.

Находившиеся еще в порту сознательные рабочие всеми силами боролись с погромом; они скатывали в море бочки, пускали в ход, где могли, кулаки, убеждали, просили. Но ничто не могло удержать разбушевавшейся погромной стихии.

Где-то вспыхнул огонь, в другом месте разбирали драгоценные товары и запихивали их в карманы. Пламя все больше и больше разгоралось; горели миллионы, горели люди, перепившиеся дорогими напитками...

А частые залпы прибывших войск наполнили порт воплями расстреливаемых людей. Толпа бросилась в город, но тут ее встретили новые залпы. Казаки рубили шашками, никому не давали спастись и гнали обратно. И под их натиском толпа дви-

галась все ближе и ближе к морю; многие падали туда и погибали в его волнах...

Мы отправились к главнокомандующему в сопровождении судового священника.

Матросы «Потемкина», сбросив власть начальства, отменили также молитвы и решили за ненадобностью высадить священника вместе со всеми офицерами; но так как не знали ничего о религиозных убеждениях убитого Вакулинчука, то решили, что на всякий случай его нужно отпевать. Поэтому, когда ранним утром отвозили на берег арестованных офицеров, священника задержали; теперь он шел с нами, и мы должны были отпустить его после похорон матроса.

Не успели мы подняться на Николаевский бульвар, как были окружены лесом штыков; офицер, командовавший тут, приказал вести нас во двор дома главнокомандующего, священнику же он вежливо предложил следовать за собой.

Все наши попытки заявить о цели нашего прихода оказались напрасны: нас не хотели слушать.

Двор, куда нас привели, представлял военный лагерь; грозно блистали штыки; резко звучали приказания; суетились ординарцы; и где-то в душе зашевелилась тревога, скоро превратившаяся в уверенность, что нас ожидает расстрел.

Но власть еще не сбросила, очевидно, с себя вчерашней растерянности; после часа томительного ожидания, в под'езде показался наш священик; он шел в сопровождении какого-то полковника и, подойдя к нам, сообщил нам новости, от которых сразу стало как-то светло и спокойно на душе.

— Вот что, братцы,—заявил он нам,—я ездил к градоначальнику, и он разрешил предать земле тело раба божьего вашего товарища сегодня в 2 часа ночи, а вас приказал с миром отпустить на броненосец.

Я переглянулся с товарищами: «Как легко бывает иногда дышать в этом мире! И какой милый этот батюшка! Не правда ли?»

И никто не заметил одобрительной усмешки двух моих товарищей.

У нас все-таки хватило выдержки довести свою роль до конца:

— Наш товарищ не вор; мы не намерены хоронить его ночью, украдкой.

— Ну, как знаете!—ответил полковник.—А теперь можете итти.

Мы отправились на броненосец, где была созвана комиссия для обсуждения создавшегося положения; но прежде чем она успела принять решение, с берега вернулся Матюшенко. Он сообщил, что его разыскали на берегу два солдата, посланные командующим войсками, с письменным разрешением хоронить Вакулинчука в 2 часа дня. Нам разрешалось выслать почетный караул из двенадцати матросов для сопровождения тела на кладбище.

Солдаты, принесшие это разрешение, пришли говорить с матросами не только от имени своего начальства, но и от имени своих частей. А от последних они заявили следующее: солдаты

также сочувствуют матросам, но между ними нет единодушия, и они боятся начать. Пусть матросы сделают первый шаг, и одесский гарнизон перейдет на сторону восстания. В городском театре[1] заседает военный совет: пусть дадут матросы залп из орудий по театру, и они перебьют всех генералов. Тогда солдаты бросят винтовки и присоединятся к нам.

Матюшенко вполне сочувствовал этому плану и решил провести его. Эта неожиданная помощь человека, пользующегося большим влиянием на команду, значительно облегчала нашу задачу. Мы решили немедленно созвать комиссию.

Первые шаги в этом отношении увенчались полным успехом. Мы сумели так воодушевить членов комиссии, что они решили, сегодня же начать бомбардировку. Был выработан следующий план действий: мы даем три холостых выстрела, чтобы предупредить население, и два боевых по «театру». Затем депутация из трех человек отправляется в город и пред'являет главнокомандующему следующие требования: 1) немедленное освобождение всех политических; 2) немедленное прекращение расстрела мирного населения города и 3) как гарантия этого, вывод всех войск из города и передача арсеналов в руки народа. Если власти не исполнят наших требований, мы завтра же начинаем бомбардировку города. Если же сегодня к нам присоединятся солдаты, мы немедленно завладеваем городом и делаем из него базу восстания.

Хотя комиссия и приняла весь план целиком, она все же не решилась предпринять такой важный шаг без согласия всей команды; решено было устроить общее собрание. Проиграли сбор, и на шканцах стали собираться матросы.

Мне пришлось от имени комиссии доложить матросам о принятом решении.

В своей речи я прежде всего напомнил матросам, что они перешли уже ту черту, до которой еще могли получить помилование: «корабли сожжены, Рубикон перейден». Перемирия с царизмом уже не может быть. Только победа одной из сторон и полное уничтожение другой может решить дело. Значит, война беспощадная. Нужно приобрести возможно сильных союзников, нужно нанести врагу страшный удар. Одесские войска готовы перейти на нашу сторону; им нужен первый шаг; этот шаг должны сделать матросы. Пока враг растерян, пока не собрал свои силы, надо нанести ему решительный удар; каждую минуту он усиливается, оправляется; он стягивает новые войска. Первый страх проходит, а вместе с ним проходит возможность оглушить врага одним решительным ударом. Каждая минута промедления усиливает врага и ослабляет нас. Вывод: немедленно приступить к решительным действиям.

И тут я познакомил матросов с выработанным планом.

---

[1] Согласно заявления служащих одесского городского театра (в. 1905 г.), «военный совет» действительно происходил там.

Во время этой речи я, после каждого положения, спрашивал матросов, согласны ли они с ним. Всегда раздавалось «верно». Когда я кончил, речь была покрыта громким «ура». Казалось, дело уже было окончено; надо было только провести определенную резолюцию. Но вдруг раздался где-то возглас:

«В город нам стрелять нельзя».

Кто-то подхватил его, потом еще несколько голосов, и скоро уже значительная часть команды стала кричать, что в город стрелять нельзя.

Скоро команда разделилась на две партии: одна требовала немедленной бомбардировки города, другая протестовала против этого.

В это время на кнехт вскочил Матюшенко. Его появление сразу прекратило споры и крики.

— Вот тут нас на судне 300 социал-демократов, — заявил он. — Мы решили отдать свою жизнь за народное дело и бороться до последней капли крови. Если вы не хотите стрелять, мы сами пойдем к пушкам и пошлем царю наши грозные снаряды. А вы, если хотите, присоединяйтесь к нам, или берите винтовки и перестреляйте нас всех. Или же свяжите нас и выдайте начальству. Оно встретит вас с музыкой, наградит вас орденами.

— Нет, не хотим, — заревела вдруг взволнованная этой картиной команда.

— Так как же, — значит, согласны стрелять в город?

— Согласны, — кричат матросы, и уже ни один протестующий голос не смеет врезаться в этот единодушный под'ем массы.

— Может, кто не согласен, но голоса не слышно? — продолжает неумолимый Матюшенко: — так мы так сделаем: кто за то, чтобы стрелять, переходи направо, а кто против — налево.

Вся команда двинулась направо.

— Вот видите, какие среди вас подлые души есть: за спиной, чтобы невидно было, команду бунтуют, а открыто свое мнение боятся сказать.

Кондуктора были пристыжены.

— Ну, братцы, теперь стойко стой. Иди по своим местам.

Оживленная команда рассыпалась по кораблю и начала готовиться к действиям. Машинисты побежали в машинное отделение разводить пары, комендоры[1] бросились чистить орудия, остальные матросы стали скачивать палубу. Санитары приготовили лазарет и перевязочные препараты. Для лазарета доктор приспособил «Веху».

Еще до собрания мы отправили в город 12 матросов для похорон.

Теперь раздались голоса, чтобы не стрелять, пока не воротятся наши, так как их перебьют. Однако это совершенно основательное соображение было забыто в общей суматохе. Было уже пять часов вечера, когда раздалась боевая тревога.

---

[1] Комендорами на броненосце называются артиллеристы-пушкари.

Раздался звук трубы; стоявшие около меня матросы побежали куда-то, и открытые части корабля сразу опустели; зато по трапам и спардеку [1] люди бегали с ужасной быстротой. Через 3 минуты все уже было спокойно: к пушкам подкатили снаряды, и у каждой стали комендоры; входы в адмиральскую были закрыты железными люками, и я долго не мог сообразить, где же это я очутился. Здесь только что были лестницы в адмиральскую, а теперь их нет. Вдруг мои ноги обдало холодной водой: это спустили шланги с водой, чтобы не загорелся от снарядов деревянный пол палубы. Я поспешил убраться отсюда во внутреннюю часть корабля. И тут меня поразил удивительный порядок: каждый стоял на своем месте, и не видно было ни одного праздного матроса.

Указав сигнальщику театр, я отправился на мостик, с которого при помощи подзорной трубы, наблюдали за городом. Там нашел я Коваленко и матроса З., сообщивших мне, что стрелять будут из шестидюймовых орудий.

Но вот раздался сигнал, и грянул первый холостый выстрел. Затем второй, третий. Через четверть часа должен был раздаться первый боевой.

Заиграла труба. Все притихло. Вот блеснул яркий свет и вслед за ним раздался оглушительный грохот, и долго еще раздавалось эхо его. Снова тишина, которую прерывает резкий крик: «перелет»—стоявшего около меня сигнальщика.

Но вот снова сигнал; за ним оглушительный грохот, и снова все тот же режущий ухо крик: «перелет».

Неудача нашей короткой бомбардировки сильно огорчила нас; нам, естественно, казалось, что снаряды попали в дома мирных жителей и причинили много несчастий тем, за кого мы боролись. Все мы бросились к сигнальщику Ведермееру с вопросом, почему снаряды не попали. Последний, не запинаясь, ответил, что для правильного прицела необходима карта с масштабом. У нас не было специалистов, которые могли бы изобличить его; а главное — никто не подозревал о возможности предательства и не думал возражать ему.

Только в Феодосии, один из офицеров, охранявших меня, поручик Померанцев, сказал мне, что неверный прицел был дан умышленно Ведермеером.

Сумерки уже опустились над городом, когда я во главе матросской депутации снова поднимался по лестнице к Николаевскому бульвару.

Нас уже ждали: на верхней площадке сидел окруженный свитой помощник главнокомандующего войсками генерал Карангозов.

---

[1] Спардек — площадка, образуемая потолком батарейной палубы; на ней находятся открытый капитанский мостик, боевая рубка, помещение беспроволочного телеграфа.

Я передал ему требования команды.

— А если мы не исполним их?

— Тогда мы оставляем за собой свободу действий.

— Хорошо, я передам главнокомандующему ваши требования.

— Еще одно предупреждение,—остановил я его, когда генерал уже поднялся, чтобы итти с докладом: — если к десяти часам вечера мы не вернемся на корабль, то по городу откроют огонь из всех орудий.

Генерал и офицеры вздрогнули.

Мы стали ждать.

Через пятнадцать минут он вернулся и, отчеканивая фразы по-солдатски, передал нам следующий ответ главнокомандующего:

«Ни в какие переговоры с царскими бунтовщиками командующий вступать не желает. А если хотите бросить еще несколько снарядов в дома мирных жителей, то бог и царь будет вам судьями. Теперь же можете итти, никто вас не тронет».

Матросы ждали нас с нетерпением и массой хлынули за нами в офицерскую, где заседала комиссия.

Среди воцарившегося молчания мы передали ответ командующего. Как и следовало ожидать, он вызвал бурю негодования.

— Мы покажем ему, какие мы бунтовщики! Не хочет разговаривать с нами, будет с 12-дюймовками толковать!

Но председатель заставляет всех молчать и дает слово одному из матросов, сопровождавших тело Вакулинчука на кладбище.

Он рассказал о восторженном приеме населения, о тридцатитысячной толпе, провожавшей тело убитого на кладбище, о грандиозной процессии и предательской попытке расстрелять почетный караул, когда он возвращался в порт, — попытке, последовавшей еще до нашей стрельбы.

Рассказ этот произвел сильное впечатление, страсти разгорелись, возбуждение росло, и ясно было, что комиссия готова с завтрашним рассветом начать действия против города.

Но среди этой решительности все-таки раздалось одно характерное для настроения «только бы»:

— Только бы эскадра пришла, — уж заговорил бы он у нас не так.

VI. ВОССТАНИЕ НА «ПРУТЕ».

За минувший день произошло еще одно событие на корабле, которому никто из нас в тот момент не придал большого значения.

Около 3-х часов дня кто-то крикнул «эскадра», и снова, как вчера, все, кто был свободен, бросились к бортам корабля. На горизонте виднелся дымок военного корабля. Пробили боевую

тревогу, развели пары; то был большой военный транспорт «Прут».

У нас все было по-боевому, и «Потемкин» готов был уже сняться с якоря, чтобы ринуться ему навстречу, когда дымок стал внезапно удаляться: «Прут» поворачивал к Николаеву.

Я бросился к Алексееву с требованием захватить «Прут»; но Алексеев по своему обыкновению нашел отговорку: «Прут»-де быстроходное судно, догнать его невозможно и т. д. Пока была созвана комиссия, «Прут» действительно удалился за пределы досягаемости.

Матросы утешали себя и меня доводами, что захват «Прута» не имел бы большого значения, так как «Прут», лишенный брони и плохо вооруженный, не представлял сколько-нибудь значительной силы при столкновении с эскадрой, и скоро мы все позабыли об этом происшествии.

Между тем за ним скрывалась раздирающая драма морского восстания.

Прибыв на Тендру, «Прут» узнал о восстании «Потемкина»; лишенный телеграфной связи, ничего не зная ни о движениях эскадры, ни о месте нахождения «Потемкина», «Прут» начинает свои скитания по Черному морю; его командир стремится во что бы то ни стало избежать встречи с «Потемкиным» и присоединиться к эскадре; его команда, наоборот, ищет встречи с «Потемкиным»; сначала она мечтает быть захваченной революционным кораблем, потом, не выдержав, выходит из роли пассивного наблюдателя, арестовывает офицеров и отправляется на тщетные поиски «Потемкина», продолжавшиеся до тех пор, пока безоружный «Прут» не был окружен флотилией миноносцев.

Эта волнующая драма одинокого, затерянного в море корабля, оторванного от своих тварищей и все-таки выполняющего свой революционный долг, мастерски описана в двух приводимых ниже письмах вождя Прутовского восстания, героя-матроса Александра Петрова, расстрелянного впоследствии в Севастополе по приговору военно-морского суда.

Письма Александра Петрова.

Письмо I.

Многоуважаемый Н. Н.

Наше дело до того запуталось, что трудно разобраться. У меня и Черного настроение бодрое. В возможность замены расстрела каторгой не верю. Особенно после сообщенных нам сегодня новостей. У Титова, наоборот, слишком велика уверенность в помиловании. Адаменко в первые дни плакал, сейчас смеется. На суде выплыло и осталось невыясненным одно обстоятельство: на вопрос судьи, г. Нольксна: «Почему избрали вас командиром?», прапорщик Яцимирский ответил: «Не знаю.

Петров сказал, что команда знает меня меньше других, потому и избрали».

Как ни старались добиться от него, что за странная причина, избирая, руководиться незнанием избираемого, — он ничего не ответил. Постараюсь ответить я: по моему мнению, нет да и не может быть человека, которому власть была бы по плечу. Всякий человек будет злоупотреблять попавшей к нему в руки властью. Поэтому когда увидали бесполезность дальнейшего беспорядка и сознали необходимость восстановления порядка и, привыкнув видеть порядок только в прежнем виде, стали избирать командира, и так как прапорщик Яцимирский почти ничем себя не проявил, то команда, которая не знала его качеств, т.-е. не знала, как он будет злоупотреблять властью, и избрала его. Так я понимаю это избрание.

Александр Михайлович ПЕТРОВ, матрос—руководитель восстания на судне «Прут».

Я застал тот момент, когда Яцимирский говорил, что он согласен, и что мы должны его слушать беспрекословно. Меня до крайности поразило это избрание, и я прервал его словами: «О беспрекословности подчинения не может быть и речи, и если команда избирает вас командиром, то этим никаких прав вам не дает, а налагает на вас известный круг обязанностей, и каждый из нас будет нести свои обязанности».

После этого я предложил устроить на судне маленькую республику, что и было охотно исполнено, а командир остался ни при чем и ничем себя не проявил. Представители собрались на юте. Это было первое и последнее заседание нашего «парламента» [1], так как благодаря малочисленности нашей республики, представлялось возможным все дела решать на сходке команды.

О «Потемкине» мы узнали только в Николаеве. Матросы 37-го экипажа [2] тоже довольно шумно выражали свое недоволь-

---

[1] Очевидно, речь тут идет об органе, соответствующем Потемкинской комиссии. Точно так же, как и на «Потемкине», комиссия эта потеряла свое значение и заменена была общим собранием команды.

[2] 37-й экипаж в Севастополе принадлежал к команде броненосца «Екатерина II», это был самый организованный и преданный социал-демократиче-

ство пищей, что мы также узнали. Вслед за этим распространился слух, что в Николаеве всеобщая забастовка. Одесса горит, и капиталисты бегут в Николаев. То обстоятельство, что в Николаеве так бурно и все-таки бегут в него, заставило нас думать, что в других местах еще бурней. И эта мысль была первым шагом к страшно напряженному состоянию. Быстрая разводка паров, бегство «Прута» из Николаева, слухи, что Чухнин не поехал в Севастополь [1], а свернул в Николаев, — все это еще больше нас наэлектризовало. Очаков [2] мы проходили совсем вечером. Близ него стояла масса судов коммерческого флота, бежавших из Одессы. Когда проходили Одессу, я спал. Вечером никто не думал о «бунте», так как команда друг друга не знала. Было просто пассивное желание, чтобы «Потемкин» нас захватил.

Обязанности агитатора я принял еще на «Екатерине», где удавалось собирать значительные сходки, последние—48—70 человек. При переходе с «Екатерины» на «Прут», организация была нарушена, так как не все ученики [3] перешли на «Прут» и разбрелись по другим судам. Среди же команды «Прут» я нашел дела в ужасном положении. Там все друг друга боялись; поговорил с одним—хороший человек; жалуется, что ничего нельзя сделать, — сволочей много; остерегайтесь такого-то и такого-то. Поговорил с теми, оказывается, тоже хорошие люди и тоже советуют остерегаться; часто указывают на того, кто советовал остерегаться их. Начал я понемногу собирать их; об'единил машинную команду; стал устраивать небольшие сходки, приглашал учеников, как это было на «Екатерине». Как вдруг—потемкинская история, которая застала нас в полной неподготовленности. Об'единяя судовую команду, я совсем забросил учеников, так как на них у меня нехватило времени, а связь между ними была нарушена переходом с одного судна на другое. В десять же дней, которые я провел на судне, ничего солидного не было сделано и с судовой командой. Дружно об'единена была лишь машинная команда, которая и вела себя более тактично во время бунта; добавьте еще к этому и то обстоятельство, что с берегом мои связи временно были порваны, так как мои люди ушли в плавание. Вот то положение, в котором мы оказались в решитель.

скому комитету экипаж, который и должен был поднять восстание всей эскадры; к сожалению, когда весть о Потемкинском восстании дошла до Севастополя, в 37-м экипаже начались преждевременные волнения, и броненосец «Екатерина II» не вошел в состав эскадры, отправленной против «Потемкина».

[1] Адмирал Чухнин, находившийся во время восстания в Петербурге, немедленно выехал в Севастополь; по дороге, однако, свирепый и храбрый адмирал... раздумал ехать в Севастополь и отправился в Николаев, откуда он уже после ухода «Потемкина» из Одессы, выехал экстренным поездом в Севастополь, боясь отправиться туда на прибывшей за ним миноноске.

[2] Очаков—военно-морская крепость у устья Днепра, недалеко от Одессы.

[3] Петров говорит здесь об учениках мореходных классов, инструктором которых он состоял. Среди учеников велась агитация, и Петров, как сильная личность, быстро сумел сорганизовать своих учеников в крепкое ядро.

ный момент. Отсутствие организации, отсутствие литературы и отсутствие людей с берега.

Ораторы на сходках говорили нам, что теперь ведется успешная агитация в крупных промышленных центрах, столицах и окраинах. Когда народ там с оружием в руках выступит против самодержавия, когда войска открыто станут переходить на сторону народа и правительство будет разрываться на части в усилиях подавить революцию, тогда и вы, матросы, спешно требуйте созыва Учредительного Собрания и полного упразднения самодержавия. Ваше требование будет сильным ударом для правительства, потому что оно одной ногой стоит на Черном море; тогда почва под его ногами заколеблется, и оно, зашатавшись, рухнет.

Так говорили нам ораторы, но не так думали мы.

Мы видели, как трудно сделать восстание общим. Вспыхнув в одном месте, оно не скоро передается в другое, и, когда передается, то бывает подавлено в первом. Войска же только тогда станут переходить на сторону народа, когда у них явится уверенность во всеобщем восстании, а для этого надо, чтобы восстание охватило широкий район. А где такой широкий район, как не у нас в Черном море? Кто, как не мы, матросы, начав революцию в Севастополе, может сразу перебросить ее на Кавказ, оттуда в Одессу, оттуда в Николаев? Кто, как не мы, может заставить войска принять участие в революции? Что они примут участие,—в этом мы не сомневались, так как только боязнь сдерживала их до сих пор. Чувствуя же за собой поддержку всего флота, они отбросили бы боязнь в сторону. И мы готовились начать дело осенью. В передовых судах числились: «Потемкин», «Екатерина», «Георгий Победоносец». Вопрос заключался в том, кому начинать. «Потемкин» и «Екатерина» выразили готовность начать. «Екатерину» в этом укрепляла организация, «Потемкин» сам на деле доказал, что начать он не побоится. От него и ждали почина. Вначале ждали осени, а потом все крепла и крепла мысль, что надо начать и теперь. Этот план, который я описал, не был составлен никем; он вырабатывался постепенно, переходя из уст в уста. Ждали полного плана, с расписанием, какому судну что делать. Как вдруг разнеслась весть, что на-днях идут на Тендру, где для пробы «Потемкин», а за ним вся эскадра пред'явят экономические требования.

— Эх, зря! — говорили многие, — не вытерпят, а плана нет, все дело испортят.

Так оно и вышло. «Потемкин» не вытерпел, наделал больше чем надо для экономических требований, и в эскадре произошел раскол; кто присоединился к «Потемкину», зная, что он должен был начать и начал, а кто, зная, что для восстания нет плана, и поведение «Потемкина» больше чем протест против пищи и обращения, не пристали к нему. У нас на «Пруте» на ночь настроение поднялось; утром многими вслух, не стесняясь присутствия квартирмейстера, выражалось желание, чтобы «Потемкин» нас нашел,

и некоторые тут же предлагали пойти к нему. Инструктора шутили: «Жаль, воскресенье пропадет, хорошо бы погулять Одессе». Ученики отвечали: «Что ж, это от нас зависит: стоит захотеть—и погуляем». Рассказывают, что был подслушан разговор между старшим офицером и прапорщиком Нестерцовым:

Прапорщик Нестерцов. — Что мы будем делать, если «Потемкин» нас захватит?

Старший офицер. — Сдадимся.

Прапорщик Нестерцов. — А командир?

Старший офицер.—Что командир? Его можно связать...

Воспитанники мореходных классов сновали между командой и вели себя с ней по-товарищески, чего раньше не было, так как большинство из них гордились. Как людей образованных, их внимательно слушали; большинство из них рассказывали такие небылицы, что даже молодые матросы отходили в сторону. Положение обострилось. Надо было принять меры.

Собрали сходку, на которой я выяснил положение дел. Советовал отложить, так как «Потемкин» один, а наше судно не боевое, и мы будем мешать, закрывая поле обстрела. Кроме того, у нас недостаток солидарности, да мы и не можем быть уверены, что «Потемкин» в Одессе. Некоторые поддерживали меня, другие возражали. М. говорил, что раз условлено было, чтобы за «Потемкиным» начинать всем, то нечего ждать, когда примкнут к нему другие, так как, в свою очередь, те могут рассуждать так же. Мы ближе других к нему, потому и должны пристать первыми; а пример заразителен. Другим судам стыдно будет; одно за другим начнут приходить в Одессу. Черный говорил, что мы не в праве потерять людей в такую минуту, Титов грозил убить меня за то, что я мешаю. Ни к чему определенному мы не пришли, а пошли на компромисс — в обед выразить недовольство пищей. Но обед прошел тихо, несмотря на то, что мясо было испорченное, а настроение все поднималось. Ужин прошел тоже без результата. В продолжение дня шлюпка несколько раз ходила на берег, принося все новые вести, страшно противоречившие одна другой. И мы всем им верили, несмотря на явное их противоречие. Долгое неполучение ответа на телеграмму [1] заставляло команду верить, что в России «горячо». Мореходами был пущен слух, что за быков заплатили не 134 рубля, как было записано, а 50 рублей [2].

Ночью была новая сходка, на которой было постановлено, что, если «Потемкин» будет светить всю ночь прожекторами, зна-

---

[1] Петров намекает тут на телеграмму командира «Прута», посланную в Севастополь с просьбой прислать инструкцию, куда итти. На эту телеграмму долго не получали ответа.

[2] Для довольствия матросов кораблю отпускалась определенная месячная сумма, таким образом, команда была как бы на своих харчах, ревизор должен был отчитываться перед ней, и команда была заинтересована правильным и экономным расходованием довольственных сумм.

чит, он в Одессе. А так как завтра утром «Прут» снимается с якоря, то до утра ничего не предпринимать, так как на горизонте виднеются таинственные дымки, и мы, подняв бунт и направившись к Одессе, рисковали наткнуться на миноноски. Когда мы утром снимемся с якоря и направимся в море и если не будет видно миноносок, то потребуем от командира, чтобы он повернул к Одессе.

Полегли спать поздно и утром проспали. Чем дальше уходили от Тендры, тем больше успокаивалась команда. Почти все были уверены, что до Севастополя ничего не выйдет. «Кожаные» [1] ободрились и начали битье. Весть о тухлом мясе и бунтарские действия Титова взбудоражили учеников. Многое выплыло наружу. Надо было ожидать до 30 арестов. Бунт назревал, и его надо было ждать с минуты на минуту. Он готов был вылиться в самую безобразную форму, так как возникал под руководством Титова. Чтобы смягчить его, я отправил к винтовкам и своих учеников, которые отличались большой гуманностью, послал известить и машинистов, но было уже поздно. Раздался крик: «Бери винтовки». Остальное все известно. Жму вашу руку.

А. Петров.

Письмо II.

Милостивый государь!

Прошлый раз, под свежим впечатлением суда и слов Титова, а также его намерений, о которых я также узнал от него самого, я много наговорил такого, чего он не заслуживает. Вот почему я считаю обязанным себя написать об его роли в деле «Прута».

Вокруг себя Титов видел ненависть ко всему власть имущему. Благодаря своей податливости всякому течению, он возненавидел власть. Когда же он ознакомился с учением, звавшим под свое знамя всех угнетенных, то он не мог не откликнуться на этот призыв. И он отдался этому делу всей душою; насколько умел и как понимал, содействовал ему. Только понимал-то он, к сожалению, неглубоко. Да и трудно было разобраться более основательно. Не было средств и не было помощи. Сходки давали немного, они развивали только дух солидарности. Прокламации тоже ничего не давали, кроме того, что, читая их, каждый чувствовал, что он не один в своем стремлении бороться, что позади его оплот, вокруг которого группируются такие же борцы, как и он.

Вы скажете: «А для чего литература?»

В том-то и дело, что она попадала в руки очень немногих и в очень ограниченном количестве. У меня, например, были следующие книги: 1) «За веру, царя и отечество», 2) «Красное

[1] «Кожаные», «шкуры», «драконы»—презрительная кличка офицеров.

знамя», 3) «Первый вал» и несколько других изданий. Как видите, всего этого было мало для глубокого понимания социальных идей. Оставалась пропаганда других товарищей, но способных на нее было мало. Так, например, я, человек не очень развитой, и то выделялся на общем фоне. Так что часто приходилось брать на себя работу не по силам, за неимением для этого человека, более способного.

Многоуважаемый Н. Н., примите все это во внимание и согласитесь, что нельзя ставить в вину Титову, если он не принимал принятого им учения во всей полноте. Нельзя также обвинять Титова и других, что они служили причиной несвоевременного поднятия восстания, так как на вопросы, обращенные к ораторам на сходках: «Скоро ли будет революция?», те отвечали, что революция—такая вещь, время и срок которой предвидеть невозможно. Таким образом, они давали полную свободу каждому определить своевременность тех или других действий. Если вы припомните наше духовное состояние, то вы увидите, что мы должны были прийти к выводу «пора», и, если некоторые и удерживали, в том числе и я, то только потому, что не надеялись на силу «Прута», если бы ему пришлось оказаться одному, что представлялось возможным в виду противоречивости доходивших до нас слухов.

Тяжело было решиться на первый шаг. Люди стояли около винтовок и не брали их; некоторые, постояв возле них, приходили и вновь уходили. Наконец, человека три учеников, якобы рассматривая винтовки, вынули их,—как электрическим током бросило всех к ружьям; и всякого, взявшего винтовку, охватил страх: «А что если больше никто не решится поступить так же? И что, если явятся офицеры и в страхе все разбегутся, а мы останемся с ружьями и нас заметят? Надо, чтобы с ружьями было возможно больше. И потому всякий взявший винтовку чувствовал, что ему возврата нет, что он должен вести начатое дело до конца, и неистово кричал: «К винтовкам! Бери ружья!»

Услыхав крик, схватил и я винтовку, и меня охватил тот же страх, который я видел на лицах других, и я тоже заорал: «Бери ружья, бери!». Команда сбегалась со всех сторон, и ружья быстро были разобраны. Люди настолько долго стояли возле ружей, что их заметили, и я, чтобы заставить их решиться на последний шаг, так как отступать было уже поздно, сказал:

— Если вы такие трусы, то я пойду скажу мореходам, и вам будет стыдно, что восстание подняли не матросы, а посторонние люди, — с этими словами я вышел из кубрика.

Вслед мне раздалось знаменательное: «К винтовкам», и я вернулся и взял ружье. Как только я узнал, что у ружей уже стоят и отступать уже поздно, я сейчас же послал туда же своих учеников и послал известить о происшедшем машинистов. Мое предположение, что ученики Титова (т.-е. ученики-машинисты, попавшие на «Прут» до прихода туда учеников с «Екатерины») замешаны, и что, во избежание напрасных арестов, необходимо

продолжать начатое дело, подтвердилось. После командир в разговоре со мной на юте сказал: «Как только я узнал, что вы собираетесь на носовом кубрике, так сейчас же велел начать молитву, думая, что раз вас останется там мало, то вы побоитесь исполнить задуманное вами и разойдетесь».

Икона, которую брали для молитвы, стояла как раз в носовом кубрике, и та поспешность, с которой ее брали, и то, что лица, бравшие ее, пристально всматривались в собравшихся, как бы стараясь их запомнить, заставили меня сделать предположение, что о сборище и его целях уже известно, кому знать надлежит.

Встретив Ковалева, я ему кратко рассказал о положении дела и попросил запастись инструментом для взлома замка на пороховом погребе. Обеспечить себя патронами я считал нужным и необходимым, так как накануне все офицеры ходили с револьверами.

Матрос Петров.

Для полноты картины восстания на «Пруте», печатаю еще письмо одного из осужденных на каторгу «прутовцев».

«Товарищи, я хочу вас познакомить с нашим делом, начиная немного раньше того времени, чем случилось восстание, а именно с 7 июня.

«7 июня к нам пришли ученики машинной школы вместе с товарищем Петровым, как главным агитатором и представителем машинной школы. Между учениками дело было очень хорошо поставлено. И хотя с первых дней на „Пруте" начальство хотело сделать из них верных солдат, но это ему не удалось, потому что мы тоже не дремали: по вечерам собирали в машине массовки и старались по возможности об'яснить нашу задачу. 10 июня мы получили из экипажа письмо, в котором говорилось, что эскадра должна 15-го пойти на Тендру и товарищи сделают революцию. Нам поручалось занять Сухарную балку.

«14-го мы снялись в Николаев, а заходим на Тендру. Знали, что броненосец „Князь Потемкин-Таврический" на Тендре, а между прочим, здесь его не оказалось, тогда мы поняли, что что-то произошло. Командир знал, но ничего нам не говорил.

«В 8 часов утра мы снялись, а в 4 часа были в Николаеве, где была забастовка. На другой день мы узнали, что „Потемкин" выбросил за борт офицеров. Тут команда отказалась окончательно слушать дураков и стала говорить, чтобы тут же сделать забастовку. Но большинство не согласилось, во-первых, потому, что у нас судно не боевое, а во-вторых, нас не пропустят мимо Очакова, и что все это еще может быть неправда. И вот утром приходит телеграмма к командиру, чтобы немедленно итти в Одессу — присоединяться к эскадре для усмирения „Потемкина".

«Мы мигом все сделали. У нас в машине были разобраны части. Живо покончили со всем. Команда ободрилась и ждала, как бы скорей присоединиться к „Потемкину" и к эскадре.

«В 4 часа вечера снялись и дали полный ход. В Одессу пришли ночью, так что ничего не было видно. На рейде кто-то освещался большим фонарем. Мы из этого заключили, что это — „Потемкин", но присоединиться не решились, потому что не знали, где эскадра.

«Из Одессы мы пошли на Тендру, но эскадры там не было. На Тендре мы стояли 17-е и 18-е. Команда была сильно настроена и ждала только сигнала.

«Оба эти дня собирались открыто на палубе и обсуждали, что предпринять. Некоторые предлагали итти в Одессу, но мы решили подождать. 19-го получили телеграмму, что итти в Севастополь.

«В 4 часа утра снялись с якоря, а в 9 часов в кубрике, где стояли винтовки, собралась толпа. По палубе также разнесся слух, что сейчас будет бунт, и команда повалила в кубрик. Чтобы раздуть еще больше ненависть к командиру, еще 18-го, вечером, стали лепить из хлеба козлов и свиней,—словом, кто кого мог, и бросать в каюты офицеров. Почти всю ночь команда не ложилась спать. Тут только командир узнал, что революция неизбежна, но он не хотел поддаваться и все верил в свою злодейскую хитрость. И вот для этого он велел собрать икону на юте, чтобы попугать дурачков господом богом. Но не тут-то было!

«В это самое время раздается клич, чтобы мы брали винтовки. В кубрике крикнули „ура" и в один момент разобрали винтовки. Тут товарищ Петров обратился к команде с довольно пространной речью, в которой он, между прочим, сказал: „Товарищи, это не бунт а революция". Команда выбежала затем наверх, стреляла из винтовок. Когда раздался первый выстрел, то доложили командиру и старшему офицеру, которые не замедлили прийти, а старший офицер еще спустился в кубрик и стал уговаривать команду; но его выпроводили прикладами и штыками. Тогда командир прислал с юта попа с крестом, чтобы уговорить команду, но крест не подействовал, и попа чуть не в шею проводили. Сюда же явился боцман и крикнул: „Наверх, команда, во фронт" но его здесь же уложили на месте, тогда несколько человек кинулись на командный мостик и повернули к Одессе. После того окружили командира и стали требовать сдачи. Командира заперли в каюту, обезоружили и арестовали всех офицеров, при чем штурманскую часть поручили Сандакову и назначили контроль из учеников „Одесского Торгового Мореплавания".

«А для того, чтобы избежать жертв и дальнейшего беспорядка, Петров предложил команде выбрать представителей, что и было исполнено. На представителей была возложена обязанность управлять судном и, между прочим, проверить судовую кассу, что также было исполнено. Денег у нас оказалось около 19 тысяч, потом выбрали командира—прапорщика Яцимирского, который должен был управлять судном так, как найдет нужным.

«В Одессу мы подошли около 6 часов вечера, но там „Потемкина" не оказалось, а стоял „Георгий Победоносец". У него мы спросили, где эскадра и „Потемкин", и нам ответили, что не знают. Мы повернули после этого на Севастополь и стали совещаться, что нам делать. Итти ли на Севастополь или же в Румынию, искать „Потемкина"; но здесь же выяснилось, что у нас мало угля, и большинство решило итти в Севастополь и поднять там эскадру. Когда 20-го мы пришли в Севастополь, нас уже встретили миноносцы. Командир доложил сейчас же адмиралу, который не замедлил явиться. Мы выбрали из своей среды Петрова, который сказал, что нам всем нужно и чего требует вся Россия. После этого вся команда подтвердила слова товарища.

«21-го приехал к нам вампир Чухнин, которому мы также приготовились сказать речь; но правда глаза колет, и он отказался слушать, а стал говорить свою, в которой нам напоминал что мы должны молиться богу за то, что мы еще не такие грешники, как „потемкинцы".

«Нашлись у нас гады из унтер-офицеров, которые нас выдали. Дело было так. Когда мы пришли в Севастополь и стали просить поддержки, то нам обещали ее; но прошла ночь и обещанного сигнала не было, а также не было его и на другой день. Тут некоторые упали духом, потому что к нам приехала рота солдат, а так как мы надеялись на поддержку эскадры, то отдали все винтовки. Всего выдали 44 человека. Команда сама никого не выдавала».

Так, находясь на расстоянии пушечного выстрела от «Прута», мы дали ему уйти и погибнуть в своем одиночестве.

Между тем, соединение наше с «Прутом» имело бы чрезвычайно важное значение не только для команды «Прута», — оно могло бы повлиять на весь ход Потемкинского восстания. Правда, с точки зрения боевой, «Прут» не представлял большой силы, и правильно замечает Петров, что в случае морского сражения, он только мешал бы нашей обороне. Но ведь морского сражения у нас не было и не могло быть, так как самодержавие не нашло ни одного боевого судна, которое согласилось бы действовать против нас, а появление «Прута», крупного военного транспорта, с экипажем в 450 человек, рядом с нами, имело бы огромное моральное значение как для матросов эскадры, так и для матросов «Потемкина». «Прут» мог бы доставить нам человеческий материал для десанта; как быстроходное и мелкосидящее судно, «Прут» мог быть пригоден для крейсерской войны против целого ряда портов Черного моря. И, наконец,—и это было самое важное,—на «Пруте» была хоть и небольшая, но сплоченная и хорошо организованная группа социал-демократов, которой нам так недоставало на «Потемкине», и выдержанный и стойкий моряк-вождь, Петров, знавший, куда нужно вести массы и умевший их вести.

Уже на второй день нашего пребывания на корабле, наша тройка (Кирилл, Афанасий и я) сумела завоевать огромный авторитет среди команды «Потемкина»; мы могли провести любое решение через комиссию и общее собрание; но обстановка боевого дела не позволяла нам взять власть в свои руки, — она должна была быть в руках моряка. Мы предложили Матюшенко сместить Алексеева и выбрать его командиром, но Матюшенко решительно и резко отказал. Тогда мы провели через общее собрание постановление об образовании исполнительного комитета из трех человек. Мы искали для его пополнения матросов-вождей, но нашли только трех преданных, но совершенно лишенных инициативы матросов. Вождя не было. И потому в решающие минуты нашей кампании, когда успех действия исчисляется буквально минутами, когда нельзя было созвать не только команды, но даже комиссии, мы оказывались бездейственными, и военное счастье проходило мимо нас.

Петров был таким вождем; он искал нас, и предательство Алексеева помешало нам соединиться с ним.

VII. ВСТРЕЧА С ЭСКАДРОЙ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ «ГЕОРГИЯ».

Мы плыли навстречу эскадре...

Утром наша радио-станция перехватила телеграмму «Ростислава» к «Трем Святителям», а отправленный тотчас же на разведки быстроходный пароход Русского Общества Пароходства и Торговли сообщил о приближении эскадры в составе трех броненосцев и флотилии миноносок.

Накануне, после долгих и страстных споров в комиссии, было принято мое предложение, сводившееся к использованию боевого преимущества «Потемкина»: большей дальнобойности его орудий. На расстоянии нашего пушечного выстрела, мы посылаем приказ эскадре остановиться и затем отправляем к ней миноноску для ареста офицеров; в случае отказа эскадры повиноваться нашему приказу, мы открываем по ней огонь. Я рассчитывал, что в атмосфере борьбы скорей пробудится сопротивление матросов к своим начальникам и на эскадре вспыхнет восстание.

Мы шли по-боевому, под красным боевым стягом. Вот на горизонте показались дымки, и скоро сигнальщик в подзорную трубу разглядел: шли броненосцы «Георгий Победоносец», «Синоп», «Двенадцать Апостолов» и флотилия миноносцев.

Бодро и радостно было плыть навстречу бою. Против нас шли самые слабые броненосцы флота: и от сознания ли нашего превосходства над ними, или потому, что приближался долгожданный роковой час, когда должны были решиться судьбы восстания, или то было обаяние морского боя, или потому, что все мы были так молоды, скоры и ловки, и море было такое

лазурно-синее, и утренний ветер так сладостно ласкал напряженные нервы,—но только все были по-праздничному веселы и оживлены.

Сейчас мы шли уже полным ходом, со скоростью 19 узлов, и расстояние между нами и эскадрой стало быстро уменьшаться.

Но что это?.. Броненосцы разворачиваются, перестраивают свой порядок; еще минута, — и вся эскадра плывет назад в море.

Не нужно быть военным гением, не нужно быть даже просто военным, чтобы понять властное требование создавшегося стратегического положения: догнать эскадру, во что бы то ни стало отрезать ей возможность соединиться с двумя сильнейшими броненосцами флота: «Ротиславом» и «Тремя Святителями». Я бросаюсь к Алексееву и спрашиваю, что он намерен делать.

— Поворачиваю к Одессе.

— Но почему?

— Потому, что это может быть маневр, чтобы увлечь нас в море, где ждут остальные броненосцы.

Как будто мы не ждали встречи со всей эскадрой, как будто что-нибудь может помешать ей прийти за нами в Одессу, как будто встреча у одесских берегов может дать нам какие-нибудь боевые преимущества.

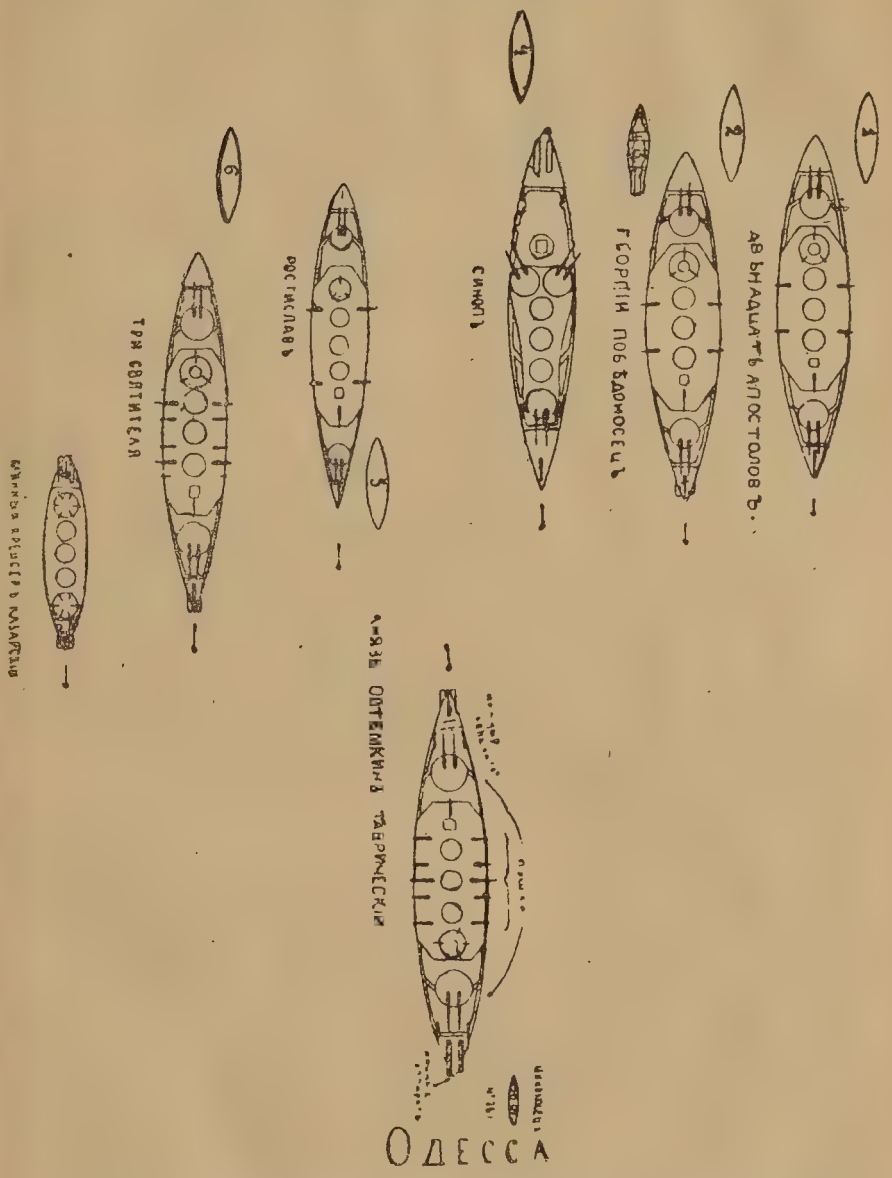
Но во время боя бесполезно спорить с командиром, и через полчаса мы стояли уже на одесском рейде.

Хотя эскадра и бежала от нас, но мы прекрасно понимали, что она может снова вернуться уже во всем своем составе, и поэтому немедленно сделали смотр боевой способности корабля. В офицерскую, где заседала комиссия, были созваны заведывающие всех частей корабля, которых спросили, все ли у них в порядке и нет ли каких-нибудь недостатков. Выяснилось, что у сигнальщика не было достаточного количества угля для прожекторов, у машинистов ощущался недостаток серной кислоты.

Эти материалы необходимо было немедленно раздобыть, так как иначе корабль не был бы в полной готовности, и с этой целью мы решили отправить в город одного матроса и товарища Афанасия. Их переодели в штатское платье и на частной шлюпке свезли на берег. К сожалению, эти товарищи не могли вернуться к нам.

На этом же заседании комиссии был снова пересмотрен план наших боевых действий. Многие матросы выражали опасения, что, если мы первые откроем огонь, мы вооружим против себя матросов эскадры и заставим их действовать против нас. Поэтому решено было вызвать адмирала эскадры к нам на борт; автор этого проекта наивно предполагал, что нам удастся выполнить свою хитрость и обезглавить таким образом эскадру, комиссия же, приняв его предложение, рассчитывала, что это требование вызовет негодование адмирала и заставит его отдать приказ стрелять по «Потемкину», что, в свою очередь, неизбежно должно было вызвать восстание на кораблях.

«Потемкин» и эскадра.
Первый момент.—Приближение эскадры к Одессе.



На настоящем чертеже нарисованы со всеми подробностями (трубами, пушками, минными аппаратами и проч.) только большие суда, миноносец № 267 и один контр-миноносец; остальные контр-миноносцы—такого же устройства. На последующих чертежах („второй момент", „третий момент") все подробности внутреннего устройства опущены, так как чертежи эти служат лишь к показанию расположения судов в разные моменты.

Примечание. Под №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 обозначены на чертеже контр-миноносцы эскадры.

Недолго пришлось нам ждать вторичного прихода эскадры: часов в 12 показались броненосцы. На этот раз их было пять.

Снова раздалась боевая тревога, и взвилось красное знамя. В тот же момент мы получаем по беспроволочному телеграфу телеграмму от адмирала Вишневецкого следующего содержания: «Черноморцы удручены вашим поступком. Сдайтесь».

Мы отвечаем: «Эскадра стой на якорь; адмирал к нам на борт для переговоров. Обещаю неприкосновенность».

Эскадра, не уменьшая хода, идет на нас.

Снова летит к нам телеграмма: «Безумные, что вы сделали? Сдайтесь! Повинную голову меч не сечет». В ответ прежняя телеграмма с грозной прибавкой: «иначе буду стрелять».

На «Ростиславе» и «Синопе» подняли сигналы: «Застопорите машину», но все-таки эскадра продолжала двигаться на нас. Первое бегство эскадры сильно подняло настроение потемкинских матросов, показало им их силу, и теперь они были охвачены совсем другими чувствами, чем при первом приближении броненосцев. Все чувствовали и свою силу, и важность момента, и каждый решил победить или умереть. Это не были нервно взвинченные или наэлектризованные речью люди, готовые в первую минуту ринуться в бой, но потом так же скоро обратиться в бегство. Нет! Это были спокойные, готовые на все солдаты. Движения каждого быстрые, энергичные, но удивительно ровные; лица бесстрастные, важные, а глаза смело и зорко следят за врагом. Это были 700 избранных, 700 обреченных на смерть.

А эскадра, громадная, с губительными миноносками, подвигается на нас огромной пастью. Впереди идут самые сильные броненосцы — «Ростислав» и «Три Святителя».

Вдруг «Потемкин» снялся и, спокойный и смелый, как дух его команды, гордо врезался в пространство между ними...

На них все по-боевому; нигде не видно матросов, и лишь кучка офицеров стоит на мостике «Ростислава». Наши пушки медленно поворачиваются за уходящими кораблями. Вдруг громадное 6-дюймовое орудие «Потемкина» направляется на мостик «Ростислава», и группа офицеров посыпалась с него вниз.

Тихо, торжественно тихо у нас на корабле; прекратились шум и крики, и матросы, молча и сурово, исполняют раздающиеся приказания.

Но вот приближаются другие броненосцы. Снова с обеих сторон грозные пушки. Мы точно в страшном кольце [1].

Но и наши пушки также зорко глядят за врагом и за каждым из них следуют стальные жерла.

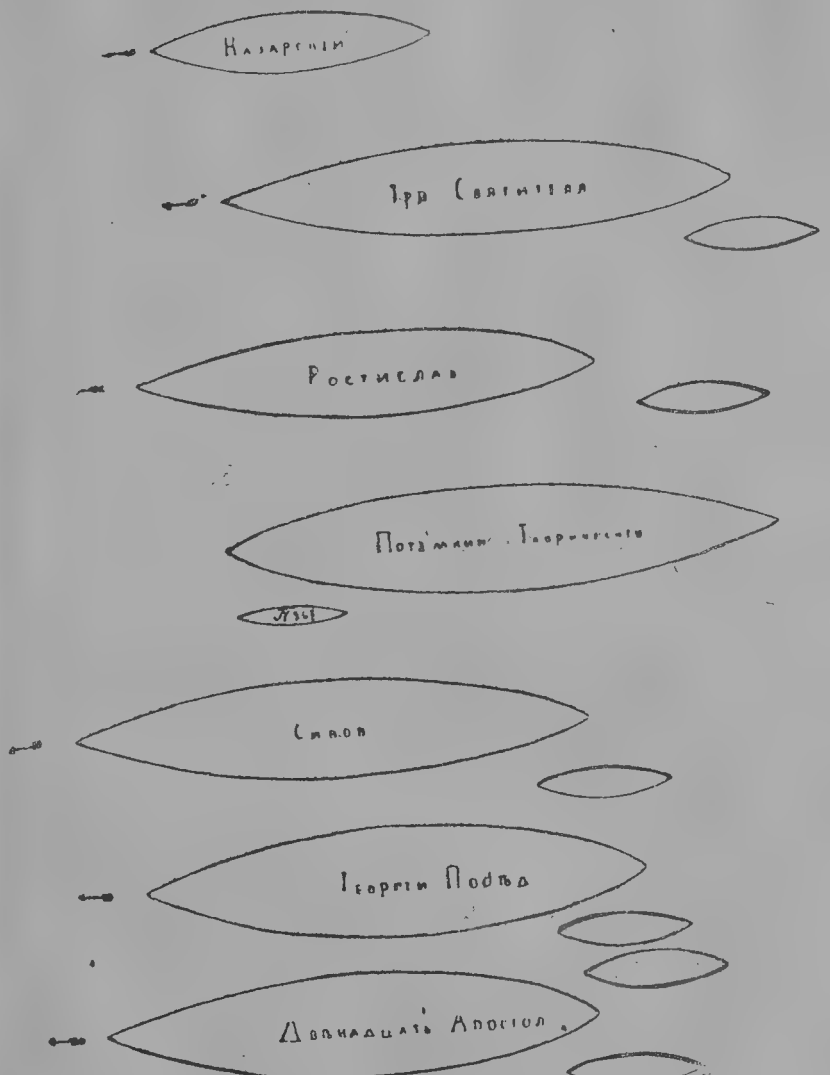
Минута... и море огласится ревом, воплями и покроется кровью.

Но вместо пушечного рева с кораблей вдруг раздается могучее «ура». Это братья наши приветствуют зарю свободы. И все мы, те, кто не занят был сейчас делом, бросились к бортам и отве-

[1] См. план: «Потемкин» и эскадра. Второй момент.

«Потемкин» и эскадра.

Второй момент.



Примечание. Порт (Одесса) находится с левой стороны чертежа.

тили таким же могучим, радостным «ура». Шапки летят в воду: изо всех сил мы приветствуем матросов и кричим им, чтобы они перебили своих «кож».

Но там нет инициаторов.

Мы, между тем, выходим из строя эскадры и идем в море. Эскадра стала. Стали и мы, но, не желая быть отрезанными от своей базы, задним ходом направляемся к Одессе [1].

Эскадра идет навстречу нам; снова мы в кольце, и снова могучее «ура».

Бог мой! Они уже с нами, но у них нехватает решимости действовать; нет никого, кто арестовал бы офицеров. Если послать наши катера с вооруженным караулом? Разве могут не принять наших те, кто, изменив всем боевым традициям, сбежался во время боевого хода корабля на шканцы и ют, сбился в кучу, как стадо баранов, и кричит нам «ура». Но у нас-то ведь живет боевая традиция! У нас она сохраняет всю свою властную силу, и мне нужно снова обращаться к Алексееву, чтобы добиться спуска катеров. О, будь она проклята эта традиция! Алексеев, конечно, отказывает; у этого предателя на все есть отговорка, и пока мы спорили с ним, эскадра удаляется.

Но вот один из броненосцев—«Георгий Победоносец»—останавливается: томительно, бесконечно медленно передается и принимается оттуда сигнал по семафору [2].

«Команда „Георгия Победоносца" желает присоединиться к вам. Просим „Потемкина" подойти к нам».

Бурные крики восторга приветствуют это заявление; снова повернулось лицом к нам военное счастье. Вместе с «Георгием» помчаться за эскадрой, и, может-быть, она еще не уйдет от нас, но Алексеев отказывается итти к «Георгию»: боится, что это — военная хитрость, и «Георгий» зовет нас, чтобы пустить мину.

«Георгий» сам пытается подойти к нам, но Алексеев дает задний ход и посылает приказ: «Стой, иначе буду стрелять». Так прошло полчаса, а адмирал тем временем полным ходом спасал эскадру от заражающего влияния революции.

Наконец, отправили на «Георгий» миноноску для ареста офицеров; на миноноске отправились Кирилл и Матюшенко. Она подошла к правому борту «Георгия», и видно было, как несколько наших взошли на броненосец. Через несколько минут уже миноноска дает нам сигнал подойти, но Алексеев и тут упорствует.

— Пока офицеры «Георгия» не будут у нас на корабле, я к ним не подойду, — решительно заявляет он.

Я решил тогда поехать на «Георгий», арестовать офицеров и привезти их на «Потемкин». Мне дают восьмерку [3], и я еду. На полпути к нам под'езжает шлюпка с двумя матросами, один из которых передает записку следующего содержания: «Команда „Георгия" не решается арестовать офицеров. Пришлите караул».

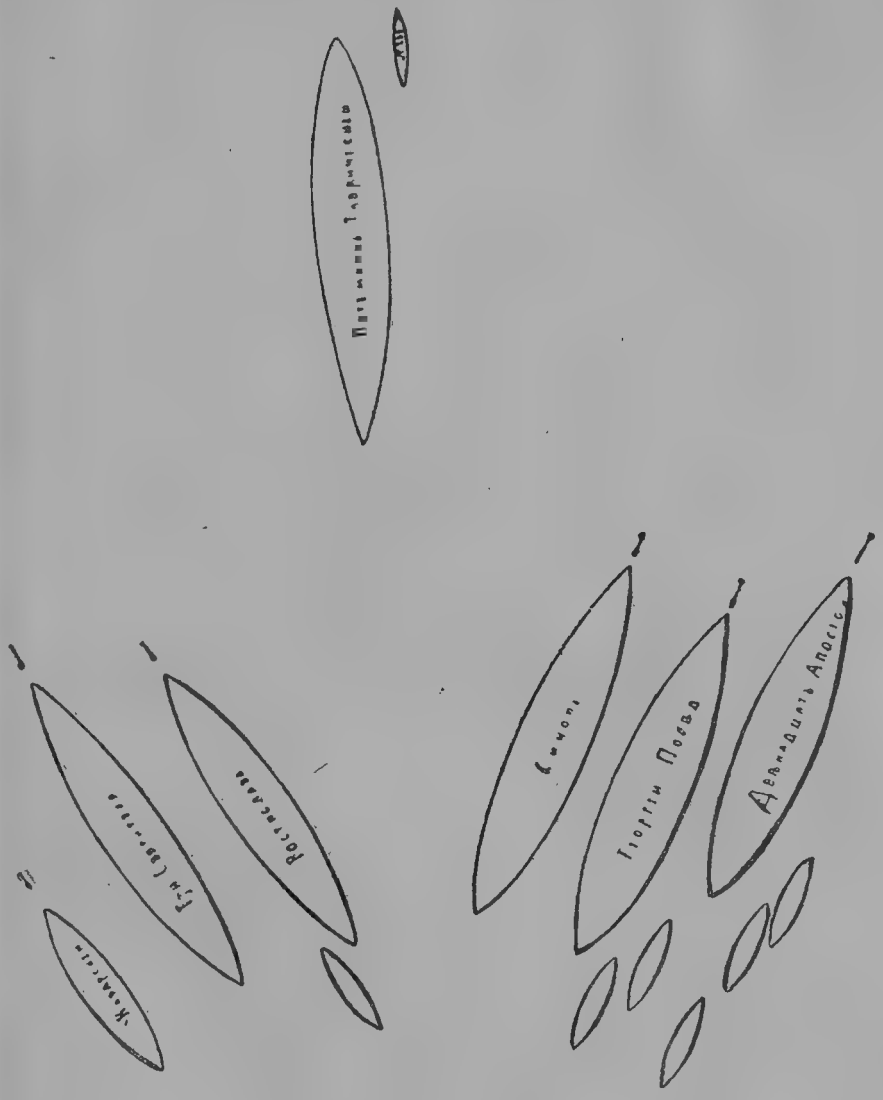
---

[1] См. план: Третий момент.

[2] Сигнализация по семафору совершается следующим образом: на одном корабле матрос делает двумя флагами различные движения, соответствующие буквам. Сигнальщик другого корабля, с помощью подзорной трубы принимает их.

[3] Лодка на восемь гребцов.

«Потемкин» и эскадра.
Третий момент.



Одесса

Я немедленно поворачиваю к броненосцу за караулом. На «Потемкине» нам не пришлось долго ждать: немедленно вызвались шестнадцать человек; этого было достаточно, и я снова плыву к «Георгию». Быстро идет лодка под дружными усилиями

здоровых и ловких гребцов; плавно опускаются восемь весел и рассекают бурлящие волны; еще один взмах, и мы у «Георгия».

— Караул, наверх! — командую я.

Матросы быстро взбегают по трапу.

— Здравствуйте, товарищи, — обратился я к ожидавшим нас георгиевским матросам, — где ваши офицеры?

— В адмиральской.

— Ведите нас к ним.

Георгиевский матрос пошел впереди, а мы с винтовками двинулись за ним. У адмиральской произошла трагикомическая сцена. Лишь только мы подошли сюда, я отдал приказ караулу строиться. Матросы построились по два человека в ряд против лестницы, ведущей в адмиральскую.

Медленно, держа винтовки наперевес, стали мы спускаться в адмиральскую. Но там было уже все сделано: Кирилл один, без всякого оружия, спустился еще до нашего прибытия в адмиральскую и разоружил всех офицеров. Караул нужен был только для того, чтобы взять их на «Потемкин».

Офицеры, наконец, собрались выйти на палубу. Матюшенко, принявший от меня начальствование караулом, скомандовал, и они были моментально окружены; затем их повели к трапу.

Когда их садили на шлюпку, матросы «Георгия» просили не убивать никого из них. Мы обещали.

В этой просьбе, как и в нежелании дать караул для офицеров, ясно проглядывало желание георгиевцев не брать на себя большой ответственности. Бунт на «Георгии» произошел благодаря энергичным действиям нескольких матросов, понявших нерешительное и сочувственное восстанию настроение всей команды. Они застопорили машину; произошло замешательство. Эскадра, шедшая на всех парах, тем временем далеко ушла от «Георгия», и последний был уже ближе к нам. С одной стороны от него удалилась сила эскадры, с другой стороны стоял «Потемкин», поднявший борьбу против ненавистного и георгиевцам режима и готовый оказать ему могущественную поддержку в случае присоединения и потопить его в случае бегства. И георгиевцы склонились перед этой силой. Все это, конечно, ничуть не умаляет революционного значения георгиевского восстания, так как энергичные действия сознательных матросов могли иметь успех только в атмосфере общего сочувствия. Но, пристав к «Потемкину», георгиевская команда бессознательно хотела себе оставить возможность отступления, возлагая ответственность за бунт на потемкинцев.

Вместе с офицерами уехал с броненосца и Матюшенко.

Я остался на броненосце.

Расхаживая по корабельной палубе и приглядываясь к матросам, я наткнулся на одного кондуктора, довольно плотного сложения, с приплюснутым немного носом; он произвел на меня какое-то отталкивающее впечатление. Смесь жестокости, наглости и холопства была написана на его лице.

Он так поразил меня, что я немедленно подошел к нему и спросил его, что ему надо на свободном корабле. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что георгиевцы избрали его командиром. Я спросил тогда матросов, чем они руководствовались при этом избрании, и они мне об'яснили, что только он один хорошо знает корабль и может командовать им.

А «Георгий» уже вслед за «Потемкиным» шел к Одессе и бросил якорь у входа в Одесскую бухту.

Я тем временем приступил к организации власти на «Георгии». Созвана была команда, начались выборы комиссии.

Стали выкрикивать имена, которые, большею частью, подхватывались командой. Выбрали нескольких кондукторов; они согласились участвовать в комиссии. Вдруг один из них отказался, тотчас же отказались и другие. Это показало, что матросы не понимают еще истинного значения комиссии и не производят строгой оценки избираемых членов. Мы об'яснили тогда георгиевцам, что в комиссию должны пройти самые достойные, самые смелые, самые самоотверженные. Матросы, поняв, наконец, это, раскассировали прежнюю комиссию и стали избирать новых членов.

Как раз в это время меня вызвали на заседание потемкинской комиссии, где обсуждалось важное предложение, внесенное георгиевским матросом Денигою [1].

Он предложил половину георгиевской команды пересадить на «Потемкин» и половину потемкинцев отправить на «Георгий».

Это предложение вызвало много возражений, сводившихся, главным образом, к тому, что, действуя таким образом, мы ослабим боевую способность обоих кораблей, так как матросы, не знающие хорошо корабля, не смогут быстро и легко исполнять свои обязанности во время боя. Решили поэтому пересадить на «Георгий» только 60—70 человек, без которых мы могли бы обойтись во время боя, и заведующим частями отдали приказ составить списки матросов, которых они могут уступить «Георгию». Комиссия занялась теперь разрешением мелких вопросов; я же вышел из офицерской и стал бродить по кораблю.

Стояла уже темная ночь. Но прожекторы, теперь уже с двух броненосцев, неутомимо работая, прорезывали ночную мглу.

Матросы все бодрствовали и делились впечатлениями сегодняшнего дня. Настроение у всех было боевое; они видели, как перед ними отступила грозная эскадра, как те, кто должен был громить их, защищая старый режим, выразили им свое полное сочувствие; и, наконец, они обладали новой боевой силой. Теперь они уже были готовы на самые решительные действия.

Я отправился в офицерскую, где ко мне подошли Кирилл и Дымченко и стали говорить, что хорошо бы отправиться кому-нибудь на «Георгий», чтобы противодействовать там

---

[1] Денига — один из главных деятелей восстания на «Георгии» — был приговорен к смертной казни и расстрелян в Севастополе.

агитации консервативной части корабля. Я согласился с этим и вместе с Дымченко отправился на «Георгий».

Тихо и спокойно было тут; команда вся почти спала, и только несколько матросов бродило по кораблю. Один из них, Денига, подошел ко мне и стал рассказывать о положении дел. Оно было довольно печальное: настроение команды — нерешительное и вялое, а кондуктора и командир ведут агитацию за сдачу.

Необходима была контр-агитация энергичная, продолжительная; весь завтрашний день должен был пройти в ней, а между тем, у нас не было сил для нее. От беспрерывных речей на открытом воздухе Кирилл, Матюшенко и я потеряли голос. Необходимы были свежие силы, а из города никто не приезжал.

Решив, что на другой день я вместе с вооруженными матросами отправлюсь в город за новыми товарищами, и положив перед собой на всякий случай заряженные револьверы, мы заснули крепким сном.

VIII. ИЗМЕНА «ГЕОРГИЯ».

Восходящее солнце следующего дня озарило наши могучие, как безбрежное море, надежды.

Эскадра ушла, не оправдав ожидания матросов.

Но зато и мысль матросов оторвалась от эскадры. Предоставленные самим себе, матросы должны были искать нового союзника; в революции, как и на войне, бездействие невозможно; его исключает логическое развитие событий.

Матросы «Потемкина» не могли стоять вечно в созерцании уснувшего города; выход из положения должен был быть найден. Если раньше таким выходом казалось присоединение эскадры, то теперь, когда эскадра ушла, — единственный путь к победе открывал город.

К тому же поведение эскадры ясно показало, что нам, во всяком случае, нечего было опасаться ее нападения; в худшем случае можно было ждать атаки миноносцев, экипированных одними офицерами; но наша бдительность могла предотвратить эту опасность. И силы наши значительно увеличились: в нашем распоряжении была уже маленькая эскадра: два броненосца, миноноска и транспортное судно «Веха», которое мы превратили в плавучий госпиталь.

Решение действовать против города уже окончательно созрело на «Потемкине». Утром Матюшенко ездил в город и передал какому-то генералу 1 000 рублей — пенсию вдове убитого капитана Голикова; по дороге ему удалось сговориться с депутатами нескольких полков о плане совместных действий; он заключался в том, что броненосец начнет обстрел дворца командующего войсками, после чего солдаты примкнут к восстанию.

Мы не были твердо уверены в том, что солдаты, сговорившиеся с Матюшенко, имели полномочия от своих частей; но, во всяком случае, обстрел дворца отвечал требованиям стратегического положения. Дворец находился на Николаевском бульваре; последний доминировал над гаванью, и на нем была теперь установлена трехдюймовая артиллерия противников.

Этот план был принят комиссией; решено было, однако, предварительно приготовить корабль по-боевому, нагрузиться углем, для чего из порта приволокли к броненосцу угольщик.

Необходимо было также урегулировать положение на «Георгии»; посланные туда Кирилл, Коваленко и доктор Голенко привезли плохие вести: среди команды вскрылся глубокий раскол, часть ее под влиянием агитации кондукторов уже открыто требовала итти в Севастополь и сдаваться властям.

Когда наша депутация вернулась с этим сообщением, комиссия решила немедленно отправить на «Георгий» вооруженный караул для ареста георгиевских кондукторов.

Но тут возник вопрос: кому ехать с караулом, чтобы об'яснить команде «Георгия» значение этой революционной меры. Я уже говорил выше, что беспрерывная семидневная агитация в Одессе и на броненосце совершенно лишила голосовых средств Кирилла и меня; мы говорили почти шопотом, и нас едва было слышно даже на заседаниях комиссии. В таком же почти положении был и Матюшенко. Тут доктор Голенко, еще утром говоривший на «Георгии» против сдачи, предложил нам свои услуги За эти дни доктор сумел завоевать наше доверие; и хотя он не был хорошим оратором и мало смыслил в политике, но авторитет офицерского мундира придавал большую силу его выступлениям перед матросами; его предложение было принято.

Это было роковой ошибкой.

Приехав на «Георгий», Голенко сбросил с себя личину; взяв слово, он заявил команде «Георгия», что среди матросов «Потемкина» такой же раскол, что значительная часть матросов желает итти в Севастополь сдаваться, но их удерживает страх перед революционерами, засевшими на корабле; что если «Георгий» снимется с якоря и отправится в Севастополь, «Потемкин» последует за ним, и все благополучно окончится.

Решившись на такое предательство, Голенко выполнял, очевидно, план, заранее выработанный какой-то тайной контр-революционной организацией, существовавшей на «Потемкине»; план этот скоро вылился в определенную форму.

Мы спокойно грузили уголь, когда «Георгий» снялся с якоря, дав нам сигнал, что он идет в Севастополь.

Это предательство вызвало взрыв возмущения среди нашей команды. Быстро окончили уборку палубы, оттащили в сторону угольщик, пробили боевую тревогу и огромные жерла 12-дюймовых пушек уставились на «Георгия». Еще минута и... но «Георгий», выкидывая сигнал: «Иду на место», действительно дает задний ход. Вот он пришел уже к месту прежней стоянки; но что

это? Он не останавливается, а поворачивает в бухту, и не успели мы сообразить, в чем дело, как «Георгий» сел на мель посреди гавани.

Наступила критическая минута; по молу уже бежали к «Георгию» солдаты; через несколько минут в руках у правительства будет морская артиллерия. И не столько это, сколько само предательство, очевидно, заранее обдуманное и связанное уже с берегом и живущее в то же время среди нас, делало положение чрезвычайно серьезным. Разумеется, быстрый и решительный контр-удар с нашей стороны мог бы парализовать это предательство и восстановить положение в нашу пользу. Огромное превосходство боевой силы «Потемкина» давало нам возможность не допустить соединения «Георгия» с войсками и снова овладеть изменившим броненосцем.

И опять успех исчислялся минутами, и опять власть бездействовала.

Вдруг где-то раздался крик: «В Румынию!», кто-то подхватил его, затем он раздался дальше, и через несколько минут уже вся почти команда «Потемкина» кричала: «В Румынию, в Румынию!». Откуда-то из трюмов повылезали какие-то матросы, очевидно, сплоченные в тайную организацию; бегая по всему кораблю, они сеяли панику среди команды.

— В Румынию! В Румынию!

Я бросился к матросам, стоявшим на спардеке.

— Братцы, товарищи! Что вы делаете? Вы губите все дело...

Но мне не удалось окончить: несколько матросов подбежали ко мне и, грозя кулаками, стали кричать:

— Куда ты нас ведешь? Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы нас, как баранов, потопили?! Вот поговори-ка еще, сейчас за бортом очутишься.

— Молчите, изменники!—крикнул я им и хотел продолжать свою речь, когда ко мне подбежал матрос Кулик и, отведя меня в сторону, умоляющим голосом стал просить меня перестать говорить.

— Все равно, команду сейчас не переубедите; только себя и дело погубите. Подождите, еще не все потеряно. Завтра они опомнятся, и тогда мы свое вернем. А если пойдете круто, то погубите все!

Не зная, что делать, я стал глядеть кругом, ища чьей-нибудь помощи и поддержки. Вдруг я увидел Матюшенко. Вместе с Кириллом, очутившимся каким-то образом около меня, мы подбежали к нему. Каково же было наше удивление, когда мы услышали, что и он произносил все те же проклятые слова: «В Румынию!».

— Матюшенко, опомнись, — крикнул ему Кирилл: — на нашей совести 600 рабочих, убитых в порту!

— А вы что, трусите? За шкуру свою боитесь? Так я вас могу сейчас на берег высадить.

Матюшенко, верный себе, потерял голову, как только массу охватила паника.

Паника все усиливалась и усиливалась... Видно, какой-то механизм, ловко воспользовавшись моментом, все сильнее и сильнее вертел колесом ее.

Наше дело проиграно... Уже отданы приказания развести пары, и «Потемкин» снимается с якоря.

Броненосец «Потемкин» перед отправлением в Румынию.

* * *

Одесса уже совсем исчезла с горизонта и кругом нас простиралось широкое море. «Потемкин» мчался навстречу другим, чуждым берегам. Что они принесут нам? Неужели вечный, неслыханный позор сдачи?

Кругом стояли группы матросов и оживленно о чем-то спорили. Я подошел к ним и услышал, что в каждой шел спор о сдаче. Лучшая часть матросов уже опомнилась и вела страстную агитацию против сдачи; остальные матросы еще упирались, но видно было, что и они начинают переходить на сторону этого мнения, и что к приходу в Румынию настроение совсем изменится.

Мое предположение оправдалось прежде, чем я думал.

Уже вечером этого же дня состоялось многолюдное заседание комиссии, в котором решался вопрос о сдаче. Раздались горячие речи и призывы к дальнейшей борьбе. Мысли всех уже стали

склоняться на эту сторону, когда в разгар прений вошел матрос Кулик и, положив на стол шапку с деньгами, заявил, что команда отдала все свои личные деньги в общую кассу матросов. Этот поступок команды, свидетельствовавший о ее воодушевлении, решил вопрос, и комиссия немедленно постановила не сдаваться в Румынии, а потребовать там только уголь и провиант. Все точно сняли с своей совести пятно; на всех лицах, до этой минуты тревожных и мрачных, появилось удовлетворение и спокойствие.

Только кондуктора молчали и бросали на нас угрожающие взгляды. Ясно было, что эти господа не подчинялись общему решению и замышляли что-то против нас.

Когда заседание комиссии было распущено, я подошел к Дымченко и поделился с ним моими опасениями. Винтовки у нас стояли в открытых пирамидах, и кондуктора, вооружив ночью своих сторонников, легко могли перебить наиболее сознательную и передовую часть команды. Все зависело в этом случае от того, из каких людей состоял караул.

Дымченко согласился со мной и немедленно отправился искать матроса, заведывавшего в этот день караулом. Вскоре он вернулся с ним, и последний успокоил нас, заявив, что караул состоит из самых надежных матросов.

Так закончился этот день, который утром сулил нам так много. Утром мы были господами положения; утром мы надеялись сразиться с царизмом и к вечеру победоносно вступить в город. А вечером... мы позорно удирали от врага и, ложась спать, боялись, что будем переколоты изменниками.

IX. ДОРОФЕЙ КОШУБА.

С момента измены «Георгия» у нас на «Потемкине» появилась новая матросская фигура — Дорофей Кошуба, товарищ-герой, расстрелянный впоследствии вместе с георгиевским матросом Денигою в Севастополе.

Это он, в тот момент, когда эскадра уходила от нас на всех парах, кинулся в командирскую рубку, отстранил командира и бросил в рупор в машинное отделение: «Стоп пары», а Денига, ждавший этого приказа, передал его в машинное отделение.

Я впервые увидел Кошубу у нас на корабле после измены «Георгия». Он успел с нашими депутатами уйти с «Георгия» и прибыл на «Потемкин». Едва взошедши на него, он обратился к матросам с страстным призывом наказать изменника «Георгия» и не покрывать себя позором сдачи. Группа изменников помешала ему закончить свою страстную речь.

Но Кошуба не был такою натурою, которую можно было угрозой заставить бросить борьбу. Скоро в другом месте можно было видеть его маленькую фигурку, всю преображенную под влиянием внутреннего воодушевления. И снова чудные картины одну за другою рисовал он.

Вот у него возник новый фантастически смелый план.

— Вот что, братцы, сделаем мы: подойдем верст на сто к Севастополю, высадим человек сто решительных матросов. Набьют они рубашки патронами и ночью, разбившись на патрули, войдут в город. Незаметно пройдут они в крепость, выдавая себя за правительственные войска, арестуют там офицеров и провозгласят восстание.

Дальше следовала страшная картина мести народа над тиранами, а затем глубоко художественное описание народной радости при встрече «Потемкина», на которую сойдутся все страждущие, все угнетенные, весь русский народ и, расположившись на крышах и деревьях, они будут слезами радости, от которых море выйдет из берегов, приветствовать давно жданного «Потемкина».

Всюду и всегда слышались его возбужденные, смелые речи. Сам полный неутомимой энергии, он будил всех и никому не позволял на минуту забыться.

Но Кошуба умел не только будить и звать всех матросов на борьбу за дорогое ему дело; он и сам умел бороться и быть первым во всех выступлениях. Он всегда вызывался на самые рискованные предприятия, и надо было видеть его огорченное лицо, когда его почему-либо отстраняли от дела.

Лишь только в Феодосии было решено силой захватить судно с углем, он вскочил на катер, отправлявшийся для этого в порт. И едва мы доплыли до судна, он первым взошел на него. Неутомимо работал он над поднятием якоря, ободряя немного оробевших матросов до того самого момента, когда раздались первые выстрелы. После геройской попытки пробраться на броненосец, он был схвачен и одновременно почти со мной приведен на гауптвахту. Но и арест, и страх перед казнью не могли сломить этого героя-борца; все так же неутомимо продолжал он вести агитацию. Едва очнувшись, он в присутствии офицеров обращается к солдатам со страстным упреком за их стрельбу по матросам; везут нас этапом в Севастополь,—он убеждает конвойных никогда не стрелять в рабочих; приводят нас в севастопольские экипажи, где нас окружают матросы и офицеры,—он обращается к матросам с призывом последовать примеру потемкинцев и перебить всех офицеров. А на «Пруте», превращенном в плавучую тюрьму, только его голос бодро и смело звучал среди всеобщей паники, охватившей матросов. Только он один убеждал матросов не выдавать товарищей и спокойно, с достоинством принять наказание.

Матросы и солдаты молодой России, запомните этот образ героя-мученика, этого солдата революции, славно умершего за рабоче-крестьянское дело!

X. В РУМЫНИИ.

В Констанце, румынском порту, лишь только мы бросили якорь и отдали положенный международный пушечный салют, к нам на борт поднялись два франтоватых румынских офицера: то были начальник порта и командир единственного румынского крейсера «Елизавета».

Они наговорили нам очень много приятных вещей; заявили, что весь цивилизованный мир с восхищением смотрит на наши подвиги, и уверяли, что, будь они русскими, они были бы в наших рядах.

Но когда мы просили продать нам за наличный расчет немного провизии, мы наткнулись на вежливый, почти воркующий отказ. Они-де самостоятельно не могут решить этого вопроса и должны довести об этом до сведения своего правительства; они, конечно, не сомневаются, что правительство всецело на нашей стороне, но, понимаете ли, нейтралитет и русский колосс—все это очень осложняет положение; но вот, если бы мы хотели сдаться и высадиться на берег, то тут, безусловно, Румыния, как свободная страна, окажет нам гостеприимство.

Мы поспешили, конечно, отклонить это предложение и просили румын поскорей снестись со своим правительством по вопросу нашего снабжения; одновременно мы вручили им два наших воззвания: одно — «Ко всему цивилизованному миру», в котором мы излагали цели нашей борьбы, другое — «Ко всем европейским правительствам», в котором мы гарантировали свободу плавания по Черному морю всем заграничным судам.

Весь день и добрая половина ночи прошли в оживленных переговорах между нами и румынскими властями. К утру для нас уже окончательно выяснилось, что в Румынии мы ничего не получим.

Еще до приезда в Румынию комиссия после долгого обсуждения приняла мое предложение: захватив в Румынии уголь, воду и провизию, итти поднимать восстание к берегам Кавказа. Теперь перед нами стал вопрос о снабжении: угля у нас было всего на два перехода, в котлы уже стали лить морскую воду, и вся команда уже пять дней как жила на сухом пайке. В Одессу не решались вернуться, так как опасались, что власти минировали одесский рейд. После долгих споров решили итти в Феодосию, где часто стояли угольщики, направлявшиеся на Кавказ.

Нам предстояло пройти еще через самое большое испытание: познакомить команду с телеграммой румынского короля, который предлагал нам сдаться и своим королевским словом гарантировал матросам неприкосновенность.

Был момент, когда мы хотели скрыть эту телеграмму; для этого у нас были к тому же формальные основания: нас известили, что на берегу нас ждет королевская телеграмма, когда был уже отдан приказ об отплытии. Однако мы передумали: Матюшенко с'ездил

на берег, привез телеграмму и огласил ее на общем собрании команды. Вслед за тем он взял слово и произнес замечательную речь.

— В каждой стране, — закончил свою речь Матюшенко, — есть свои законы и обычаи. Но одно есть чувство, которое свято чтится всеми народами: это чувство гражданской ответственности перед родиной. Теперь же, братцы, подумайте, как будет относиться к вам румынский народ, когда узнает, что вы—изменники родины и, имея возможность спасти ее от тиранов, сдались подло, спасая свою шкуру!.. И какая тут будет жизнь у вас, когда каждый румын будет встречать вас с презрением, когда дети будут указывать на вас, как на изменников своей родине, и всеобщая ненависть будет окружать вас?

Эти простые, но доходящие до глубины сердца слова так подействовали на матросов, что дальнейшая агитация была лишней, и вопрос об уходе из Румынии был немедленно решен в утвердительном смысле. Румынам послали отрицательный ответ на предложение, а сами подняли якорь и скоро удалились от негостеприимных румынских берегов.

XI. СКИТАНИЯ «ПОТЕМКИНА».

И снова, как призрак, скитаемся мы по широкому морю; только оно, гордое и могучее, дает приют «красному» кораблю. Только оно ласкает его своими мягкими водами и поет ему песни о воле и свободе.

Уже спускался вечер, когда мы отошли от берега, и скоро черная ночь, полная опасностей, окутала нас своим мрачным покровом. Сегодня мы не решались бороться с этой тьмой и прорезать ее яркими лучами прожектора, боясь выдать себя искавшим нас миноносцам. Мы шли с потушенными огнями. Только в закрытых каютах да в машинном отделении яркие огни освещали бодрые лица матросов.

Теперь уже было сказано открыто то, чего никто не решался до сих пор сказать прямо: мы вступаем одни, без помощи эскадры, в настоящую борьбу с царизмом. Теперь уже не было места колебаниям; перед нами стояла альтернатива: сдаться под покровительство румынских властей или начать беспощадный бой с царизмом. Мы выбрали последнее. И это страшное сознание решительности и бесповоротности положения ярко сказывалось в решении, которое мы, немедленно после отплытия из Румынии, провели в комиссии—поднять красное знамя. Хотя матросы, уже самим фактом восстания, заменили знамя царизма красным флагом революции, но все-таки формально сделать это они не решались. Тут говорило много чувств: и старое суеверное уважение к Андреевскому флагу, и сопровождающее красное знамя представление о виселице, а может-быть, боязнь матросов самим

себе ясно и открыто назвать свои действия, увидеть ту пропасть, которую они перешли.

Все наши попытки уничтожить Андреевский флаг и поднять красное знамя до сих пор были напрасны. Но теперь положение было настолько определенное, что наше предложение принято было с восторгом.

Притащили громадное красное полотно, призвали красильщика и скоро огромное знамя с белыми надписями, высушиваясь, висело в офицерской. Оно должно было взвиться над кораблем к приходу его в Феодосию.

К этому же моменту решено было вообще украсить корабль флагами, чтобы население поняло, что это не мрачные пираты пришли, а друзья и братья, что не грабить город пришли мы, а просить помощи для борьбы с общим врагом. С этой же целью решено было немедленно пригласить к себе представителей города, и, об'яснив им цель и характер нашей борьбы, потребовать у них необходимое количество угля и провианта.

Весь следующий день мы провели в море. Корабль, которому нарочно дали такой ход, чтобы прийти в Феодосию утром следующего дня, медленно двигался среди тех же широких, громадных вод.

Хотя море давало нам надежный приют, но все-таки начиналась чувствоваться оторванность и изолированность.

Снова мы одни на всем этом громадном пространстве, одни против врага, одни в страшном предстоящем бою... Правда, впереди поддержка народа; но пока ни одного союзника нет у нас. И от этого одиночества становилось жутко; оно влезало в душу и наполняло ее тоской и сомнением.

Самые смелые легко боролись с ним, но слабые начинали поддаваться; а змеиные жала кондукторов тайно вливали новый яд сомнения в окружающую атмосферу. В глубине трюмов, в темных углах эти гнусные кроты подтачивали корни нашего дела.

Матюшенко поймал одного из них и тут же хотел расстрелять его. Это был бы акт великой мудрости: страхом и ужасом надо было сковать сердца этих негодяев, так безжалостно губивших наше дело.

Но мы обнаружили глупое, бессмысленное, преступное великодушие,—преступное, ибо тысячу раз был прав Икар, воскликнув, что «в деле политической свободы простить преступление—значит сделаться соучастником его».

Мы простили их, а они продолжали свое дело... На канве изолированности писали они свои узоры, и именно в Феодосии удалось им победить нас,—в Феодосии, где не было многочисленного рабочего населения и где нам не могли устроить восторженную, ободряющую встречу.

Был еще один фактор, подтачивающий настроение команды: отсутствие провианта и угля. Уже восьмой день, как никто из нас не ел мяса; хлеб, пшено и вода в ограниченном количестве

составляли единственную нашу пищу. Это тогда, когда мы расходовали ежедневно громадную нервную энергию.

Особенно тяжело было положение машинистов: им приходилось работать в 40° жаре, день и ночь проводить в раскаленном аду. Тяжело было смотреть на этих измученных, истощенных людей. Помню, как однажды, когда я вошел в машинное отделение, ко мне подошел матрос Кулик, служивший при машине, и заплетающимся от усталости языком стал говорить мне, что работать в такой жаре летом, да еще на голодный желудок, нет возможности.

— Сил нехватает, руки опускаются. Кажется, вот-вот упадешь.

Надо было обладать той преданностью делу, какая была у машинной команды, чтобы с таким самоотвержением работать в этом аду. Я пробыл здесь только час и долго потом не мог прийти в себя от жары, шума и толкотни. Но, кроме голода матросов, был другой голод, более страшный своими последствиями—голод броненосца. Уже давно вышла вся пресная вода. Опреснитель мог обслуживать только нужды людей; для котлов же надо было во время плавания слишком большое количество воды, чтобы опреснитель мог удовлетворить эту нужду. В котлы стали пускать соленую воду; но соль осаждалась и портила цилиндры. И хотя заведывающий машинным отделением, матрос Денисенко, не пуская в ход всех котлов, чистил испортившиеся, все-таки они постепенно приходили в негодность. А главное — этим пользовались кондуктора, распространявшие среди матросов слухи, что котлы откажутся служить, если мы не достанем пресной воды.

Уголь также был на исходе, и его могло хватить, даже при самом экономном расходовании, всего на 2—3 дня.

Однако не недостаток угля, не недостаток воды, как бы сильно ни понижали они боевую способность корабля, заставили сдаться «Потемкин». Мы могли еще долго продержаться, а главное, могли достать все, что было нам нужно. Но кондуктора, ловко воспользовавшись этими дефектами и сделав их орудиями своей агитации, распространяли среди команды слухи, что броненосец скоро совсем потеряет свою боевую способность, и правительство без труда возьмет нас.

Эти факторы имели скорее психологическое, чем действительное значение, повлиявшее на сдачу броненосца.

На рассвете следующего дня я проснулся и отправился бродить по кораблю. Команда уже вся была на ногах, и шла уборка: корабль приготовляли к Феодосии. Комендоры сняли чехлы с пушек и чистили черновато-коричневые жерла их.

Сигнальщики протягивали веревки и развешивали на них разноцветные флаги. Корабль был убран по-праздничному; все улыбалось, блестело, и среди этих праздничных цветов невольно

преобразились и лица матросов; и они светились радостью и бодростью.

Но вот уж показались берега; теперь корабль шел полным ходом. Взвилось красное знамя, и свободный революционный броненосец гордо стал на якорь неподалеку от входа в Феодосийскую бухту.

Феодосия — небольшой торговый порт — живописно расположена у подножия высоких гор между двумя крепостями—Севастополем и Керчью. Горные возвышенности, окружавшие ее со всех сторон, сильно облегчили бы ее оборону, а немногочисленный гарнизон (600 чел. пехоты, без артиллерии) позволял нам захватить ее без особых усилий.

Но, несмотря на это, я горячо восстал против предложения захвата города,—предложения, внесенного в этот день Кириллом. В Феодосии нет почти промышленного пролетариата, т.-е. нет солдат для революционной армии. Из кого мы будем вербовать войско? Кто будет защищать город? В то же время Феодосия находится между двух крепостей, которые немедленно ударят всей силой своего вооружения на восставший город; а чем тогда его защитить? Где взять пушки, когда даже здешний гарнизон их не имеет. Оставаться же защищать город — значило ограничить район восстания одним уголком, значило сразу обречь его на неудачу. А оставить Феодосию на произвол судьбы после ареста властей, было бы предательством по отношению к населению. По этим соображениям решили мы не захватывать Феодосию, а только добыть в ней необходимые нам запасы.

Лишь только мы стали на якорь, наши представители—Кирилл и еще два матроса—сошли на берег. Здесь они видели ту же картину, какую пришлось наблюдать и в Одессе: сочувственная встреча со стороны населения города и царское воинство, всегда храброе перед безоружною толпой, но бегущее в паническом ужасе при виде вооруженного противника.

Так и теперь, полиция не только не арестовала наших делегатов, но и не посмела разогнать толпу, перед которой Кирилл произносил революционные речи.

После произнесения речей наши делегаты потребовали, чтобы городские представители немедленно явились на корабль. Стоявший на берегу член управы обещал тотчас же передать это требование городскому управлению. Действительно, скоро из гавани уже плыл катер по направлению к броненосцу; спустили трап, и через несколько минут представители города были уже на нашем корабле.

Их было пять: городской голова, человек довольно плотного сложения, член управы, высокий, живой, с умными и выразительными глазами господин (впоследствии я узнал, что фамилия его—Крым), его товарищ, блондин с удивительно симпатичными и мягкими чертами лица, какой-то инженер и городской врач, вытребованный нами для больных матросов.

После короткого приветствия, их привели в адмиральскую, где уже собралась вся команда. Кто-то из нас (хорошо не помню— Кирилл или Коваленко) произнес речь, в которой указал, что мы боремся за свободу для всей России, что мы выставляем требование Учредительного Собрания. Обязанность каждого гражданина, каждого общественного учреждения помочь нам как привлечением на нашу сторону сочувствия всего народа путем оповещения о целях нашей борьбы, так и реальной помощью — доставкой необходимых нам припасов. Мы обращаемся поэтому к феодосийскому городскому самоуправлению с требованием, чтобы оно немедленно устроило гласное заседание городской управы, рассказало широкой публике о наших политических требованиях и доставило бы нам необходимые припасы.

Таково было содержание речи товарища, говорившего от имени комиссии.

В ответной речи г. Крым подчеркнул свою солидарность с нами в требовании Учредительного Собрания, оговорившись, впрочем, что он против прямого избирательного права. Обещав исполнить наши требования, он спросил, какие припасы нам необходимы. Находившийся тут же Мурзак представил список; он состоял из продуктов провизии, некоторых предметов, необходимых для машин, угля и воды.

Городские представители согласились на выдачу всего этого, кроме воды, говоря, что население само страдает от недостатка ее. Поговорив еще немного с нами, представители города уехали, обещав все доставить к 4-м часам.

В ожидании погрузки матросы стали писать письма домой; все знали, как беспокоятся о них дома после правительственного сообщения о Потемкинском восстании, и всем хотелось воспользоваться остановкой в русском порту для сообщения сведений о себе. Эти письма я лично свез на берег и передал группе рабочих для отправки их почтой. Это маленькое происшествие имело, однако, роковое последствие для дела нашего восстания: рабочие, которым мы вручили письма, были арестованы; корреспонденция перехвачена властями, и так как в некоторых из писем сообщалось о разложении среди команды, власти решили действовать энергичней и дать нам вооруженный отпор.

Представители города сдержали свое слово: в 4 часа прибыл баркас с провиантом, и мы погрузили быков, муки, крупы, яиц и других припасов на 10 дней кампании.

Но нам не была доставлена пища для броненосца: уголь и вода, так как этому решительно воспротивились военные власти. Представители города просили нас подождать до вечера ответа на какую-то телеграмму в Петербург. Кирилл несколько раз ездил на берег, и день прошел в бесплодных переговорах. Положение затруднялось тем обстоятельством, что при первом беглом осмотре гавани, мы не обнаружили в ней угольщика; значит, уголь надо было брать из города, а для этого нужно было взять город, подвергнуть его бомбардировке, т.-е. действовать факти-

чески против населения. И все же к вечеру выяснилось, что другого выхода у нас нет, и мы принуждены были послать в городскую управу следующий ультиматум:

«Если завтра, к 6 часам утра, не будет на корабль доставлен уголь, в 10 часов броненосец откроет огонь по городу. Просим предупредить мирных жителей».

XII. В ФЕОДОСИИ.

Удивительная картина открылась перед нами с рассветом следующего дня: бегство жителей из города. Женщины и дети, старики и молодые шли, таща на своих спинах котомки и узлы; среди этой копошащейся, как муравейник, толпы мчались экипажи богачей. Сердце невольно сжималось при этом зрелище от мысли, что, быть-может, мы сегодня разрушим жалкое имущество бедноты.

Но не было времени для сердечных излияний: время шло, и надо было узнать ответ на ультиматум.

Матюшенко и я сели на катер и направились к берегу. Там уже ждал нас представитель управы.

— Нет, не разрешает начальник, — быстро и отрывисто заговорил он, — погодите до 11 час.; мы вызвали по телеграмме губернатора и уверены, что он разрешит выдать вам уголь. Ради бога, ждите, — умоляюще закончил он.

Но пред нами стояла альтернатива: или не щадить дома феодосийских обывателей, или медлительностью рисковать восстанием.

Я выбрал первое и в таком духе ответил гласному, обещав, впрочем, передать на рассмотрение комиссии.

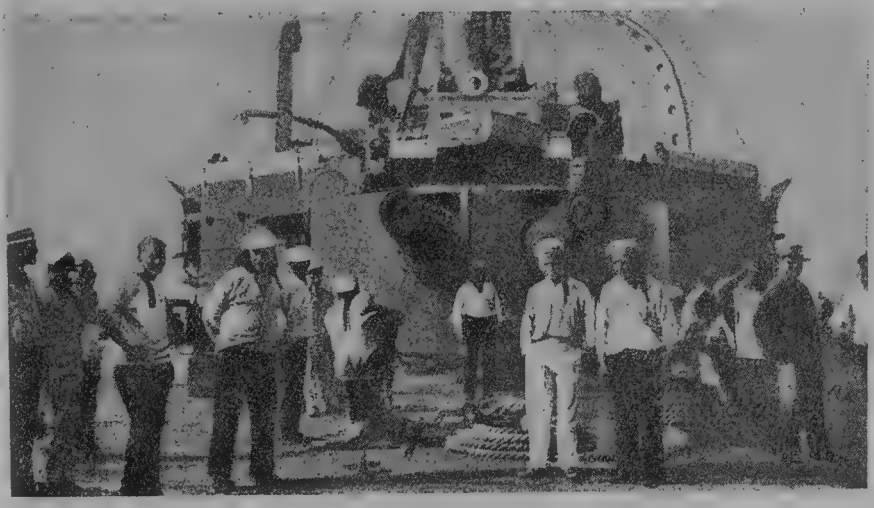
Мы уже направились к кораблю, когда у меня мелькнула мысль исследовать гавань и проверить, нет ли в ней угольщика. Матюшенко согласился со мной и направил катер вдоль берега. Каково же было наше удивление и радость, когда мы наткнулись на три парусных шхуны, на которых в общей сумме было 30 000 п. прекрасного угля. Хозяин согласился отдать нам уголь, но с условием, чтобы мы сами притащили шхуны к кораблю.

С радостным чувством поплыли мы к броненосцу; вопрос разрешался теперь очень просто, так как под прикрытием миноноски, легко было захватить эти шхуны и на буксире катера притащить к кораблю.

Быстро собрали мы человек 15 из комиссии и так же быстро и—увы!—легкомысленно решили вопрос об экспедиции. Вместо того, чтобы созвать команду и потребовать от нее клятвы в том, что она будет защищать нас, отправлявшихся за углем, затем пробить боевую тревогу, чтобы, в случае сопротивления властей, все были бы на местах и пушки дали бы грозный ответ, прежде чем мелькнула бы мысль о бегстве, мы ограничились только тем,

что посадили на катер 25 решительных матросов, вооруженных винтовками, и приказали миноноске двигаться за нами. Эта ошибка вытекла как из увлечения неожиданной находкой, так и из уверенности, что солдаты не будут стрелять в нас,—уверенности, погубившей всю экспедицию.

План был составлен таким образом, что катер возьмет одну шхуну на буксир, а миноноска, вооруженная малокалиберными пушками и командою в 50 человек, будет защищать нас от действия войск. Но и тут мы сделали важный промах, посадив на



В Феодосии. На «Потемкине».

катер Матюшенко, Кошубу и меня, т.-е. самых решительных людей. Всем нам надо было быть на миноноске, чтобы заставить ее действовать в решительный момент.

Настроение у всех ехавших на катере было бодрое: никто не сомневался в успешном исходе предприятия, и матросы даже смеялись над теми, кто заряжал винтовки,—до того они были убеждены, что солдаты не будут стрелять. Этим чистым, только-что проснувшимся душам казалось немыслимым, чтобы их братья-солдаты стреляли в них. Они твердо верили, что пришел час общего восстания, и солдаты только ждут сигнала, чтобы обратить свое оружие против народных врагов.

Жестоко они поплатились за эту веру...

Когда наш катер подошел к шхуне с углем, все мы, за исключением нескольких матросов, взошли на нее. Нужно было поднять якорь, и мы, приказав нескольким матросам смотреть за берегом, деятельно принялись за нашу работу.

Энергичнее всех работал Кошуба. Я тащил якорь рядом с ним и удивлялся его железной энергии: он работал без устали и, когда

у нас опускались руки от усталости, он то громовым, то умоляющим голосом заставлял нас забыть об усталости и снова приниматься за работу.

Якорь поднимается все выше и выше, сейчас он вынырнет из воды — и шхуна наша.

Вдруг на берегу появляется рота солдат, и прежде чем мы успели сообразить, что нам делать, раздается залп и сразу несколько матросов падает в воду.

— Ребята, бери винтовки!—крикнул стоявший рядом со мной матрос Микишкин. Вместе с ним я схватил винтовку, и мы направили их на солдат. Но в ту же минуту Микишкин, раненый, упал в воду. Я посмотрел кругом — ни одного матроса; я бросил взгляд на воду и там увидел страшные, полные тоски и боли, глаза умирающего Микишкина. Они как будто молили о помощи. И, не помня себя, видя перед собой только эти глаза, я бросился к нему на помощь. Схватив его, я поплыл к катеру. Но по катеру открыли огонь, и он, спасаясь от пуль, стал уплывать от нас.

Кругом нас падали пули и барахтались раненые и тонущие матросы. А солдаты пришли в исступление, стреляли по плывущим и добивали раненых.

При ужасе, окружавшем меня, я не догадался плыть к берегу, а стал догонять катер. Но катер уплывал все дальше и дальше. Когда я опомнился и повернул к берегу, было уже поздно: я выбился из сил и едва держался на воде.

Пули так и сыпались кругом нас. Вдруг одна из них попала в Микишкина; он судорожно метнулся; моя ослабевшая рука выпустила его, и он камнем пошел ко дну. Я сейчас же нырнул, но не мог поймать его. Он погиб.

Кое-как доплыл я до стоявшего вблизи судна и схватился за железную якорную цепь его. А братоубийственные залпы все продолжались... Схватившись за цепь, я стал раздеваться. Так продержался некоторое время, пока не прекратилась стрельба.

У меня явилась мысль взобраться на судно по цепи. Я стал взбираться. Но силы изменили мне, и, почти поднявшись наверх, я камнем падаю в воду. Несколько раз возобновлял я свою попытку, и всякий раз тот же результат.

В это время я услышал неподалеку от себя, как что-то упало в воду. Я оглянулся; то Кошуба и матрос Задорожный бросились в воду с той шхуны, где мы брали уголь. Пули не задели их и, выждавши прекращения стрельбы, они решили плыть к броненосцу.

— Куда плывешь? — спросил я Кошубу.

— К броненосцу.

— Плыви, товарищ, и передай матросам, что их расстрелянные товарищи вопиют о мести. Смотри же, доплыви, невзирая ни на какие опасности.

— Ладно, — ответил Кошуба и исполнил свой долг.

Солдаты, заметив его, приказали ему остановиться, грозя стрелять, но он плыл дальше; раздался выстрел, пуля слегка задела его, но он плыл все дальше и дальше.

— Стой, иначе убьем!—кричат ему снова солдаты, но Кошуба плывет, помня мой завет.

Что было с ним дальше,—я не видал, так как в это время солдаты заметили меня и вытащили из воды.

Но уже в тюрьме Кошуба мне сообщил, что солдаты догнали его на шлюпке.

Я уже совсем окоченел, когда проходивший по берегу солдат заметил меня и послал за мной шлюпку. Сознание оставляло меня и смутно, сквозь сон, помню я вопрос офицера, ранен ли я, носилки и затем зеленые спины людей.

Очнулся я уже в палате Красного Креста; надо мной стоял военный врач и поил меня ромом. Приятная теплота разлилась по телу, и я с наслаждением пил живительный напиток.

Офицеры попробовали со мной заговорить, но в это время принесли новые носилки с матросом.

— Ранен?—бросился к нему доктор.

— Никак нет, ваше благородие.

Мой взгляд устремился на эту группу, в надежде найти там Кошубу. Но это оказался матрос Задорожный, которого нашли под пароходной пристанью.

Я совсем уже пришел в себя и сел на скамейку; рядом со мной посадили Задорожного.

— Ну, что теперь будет? — спросил я его.

— А что ж, пойдут в Румынию сдаваться! Это уж как бог свят.

И ответ его показал, что в низах команды велась уже агитация за сдачу, и кондуктора располагали сильной организацией.

Новые носилки прервали мои размышления.

— Раненый, — крикнули солдаты.

— Кошуба,—мелькнуло у меня в голове,—и я бросился к нему. Но меня усадили на прежнее место.

— Э, пустяки,—сказал доктор. — Сейчас встанет. И действительно, Кошуба скоро очнулся, встал и сел рядом с нами.

Офицеры удивительно ласково обходились с нами; узнав, что мы голодны, они велели принести нам яичницу и чай. Советовали нам, как держаться на допросах, спрашивали нас, был ли кто-нибудь из властей на корабле, и предлагали ли нам сдаться. Получив отрицательный ответ, офицеры удивились, и один из них, вернувшийся из Порт-Артура капитан, выразил даже желание просить у начальника гарнизона разрешения с'ездить на корабль и убедить матросов сдаться. Но я поспешно уверил его в тщетности такой поездки. Это предупредительно-ласковое отношение к нам со стороны офицеров продолжалось до того момента, как «Потемкин» скрылся с горизонта. Ужас грядущей мести матросов заставлял этих трусов льстить и сочувствовать нам.

Только поведение начальника гарнизона, полковника Герцыка, звучало резким диссонансом в этом хоре сочувствующих и подпевавших нам офицерских голосов. Пришедши на несколько минут в палатку, Герцык, увидя нас, пришел в такую ярость, что потерял даже способность говорить: он яростно потрясал кулаками, грозил нам виселицей и издавал какие-то нечленораздельные звуки. Наконец, он удовлетворил себя и ушел.

Нас вывели на солнечную аллею; хорошо и тепло было на солнце, и я на минуту забыл обо всем, подставляя свое продрогшее тело под жаркие лучи солнца.

Вдруг какой-то штатский господин вошел в сад и стал приближаться к нам. Всмотревшись, я узнал в нем члена управы г. Крыма, который был у нас вчера на броненосце.

— Что, господа, будут стрелять с броненосца? — обратился он к нам.—Мне нужно это знать: надо предупредить жителей,— ведь в городе уже грабежи пошли.

Я ответил ему, что не знаю, посоветовал отправиться на броненосец спросить об этом матросов. Он согласился с нами и стал уходить. Сердце забилось в тревоге. Может быть, он расскажет матросам, что мы не убиты, и они откроют огонь и потребуют нашего освобождения. Хотелось прийти к ним хоть на минуту; я бы рассказал им, как умирали их братья, я бы сказал им это так, что души самых слабых, самых трусливых загорелись бы ненавистью и желанием мести.

Но недолго я волновался; не успел г. Крым дойти до ворот, как под'ехавший верховой произнес роковые для нас слова: «Броненосец скрылся с горизонта».

XIII. СДАЧА.

Через три дня от стерегших меня на гауптвахте солдат узнал я, что «Потемкин» сдался. А еще через три месяца, уже будучи за границей, я узнал от Кирилла подробности переполоха на корабле, вызванного стрельбой солдат и заставившего «Потемкина» итти в Румынию сдаваться. В общем картина была та же, что и при измене «Георгия».

Командой, вследствие неожиданности, овладела паника; минная и машинная — самые лучшие части команды — бросились в свои отделения; власть бездействовала.

Снова кто-то крикнул: «В Румынию!», снова появились какие-то незнакомые матросы и, бегая по палубе, увеличивали панику; снова Кирилл бросился к Матюшенко, и снова последний ответил, что он — «вольный» и ничего не понимает. Разница была лишь в том, что теперь и наиболее сознательная часть команды колебалась, так как не хотела стрелять в дома мирных жителей.

Слишком поздней оказалась и встреча потемкинцев с т. Х. Раковским. Он встретил матросов «Потемкина» в Констанце, чтобы

передать им привет от европейского пролетариата и вдохнуть в их усталые души энергию к новой борьбе. Он привез им утешительную новость: перетрусивший турецкий султан заявил, что при первом появлении «Потемкина» откроет перед ним проливы, отделявшие нас от сердца России, петербургского пролетариата.

Слишком поздно.

Раковский нашел уже не борцов, а измученных, надломленных людей.

Громадная и славная крепость сдалась в полной боевой готовности...

Х. Г. Раковский, встретивший «Потемкина» в Констанце от имени социал-демократических организаций.

Только на свободе, когда прошел первый ужас и кошмар этой сдачи, я мог хладнокровно и об'ективно обдумать все причины крушения наших планов. И, разбираясь во всем происшедшем, я увидел, что главная причина, из-за которой наше восстание фатально было обречено на неудачу, лежала вне нас: она скрывалась в недостаточном развитии береговой революции.

Могли ли мы, действительно, победить, когда вся окрестная Россия так бездеятельно относилась к нашему восстанию? Почему рабочие окрестных городов, из которых подвозились в Одессу войска, молчали? Почему они не разрушали железных дорог, не взрывали мостов, не изолировали одесских властей?

Почему окрестные крестьяне не посылали отряды своих сыновей на помощь одесским рабочим?

Потому что они не были достаточно подготовлены к революции. А если это так, то сами мы, предоставленные своим собственным силам, не могли победить царизма. «Но ведь вы даже не пробовали его побеждать. Разве вы пробовали взять город? Разве вы не решились сделать это потому, что боялись не одолеть находящихся там войск? И не безразлично ли было для вас в таком случае количество одесских войск?».

Да, это верно: мы даже не решались начать настоящий бой с царизмом.

Но разве самый факт этой нерешительности не подтверждает еще более моей мысли? Мы не дерзали потому, что берег молчал.

Потемкинская команда, только-что порвавшая со старым порядком, не могла решиться сама действовать против царизма. Она инстинктивно искала союзника. Взоры ее обратились к эскадре, потому что в ней она видела реальную силу.

Но значило ли это, что и народ должен был ждать всего от эскадры? Не должен ли был он, наоборот, развернуть громадную революционную энергию, показать потемкинцам, что в нем должны они искать могучего и верного союзника?

Если бы матросы услыхали, что рабочие разрушают железные дороги, чтобы воспрепятствовать подвозу войск, что со всех местностей двигаются отряды рабочих и крестьян на помощь восставшим, что одесские рабочие куют на заводах оружие; если бы одесские рабочие, владея в первый день портом, не ушли бы оттуда, а, невзирая на нежелание матросов действовать, забаррикадировались бы там, — словом, если бы берег не ждал, а боролся, то и матросы, не ожидая эскадры, бросились бы на помощь восставшему народу. Они бросились бы уже потому, что не могли бы равнодушно присутствовать при кровавой борьбе своих братьев. Ведь хотели же матросы во время пожара в порту сойти на берег и прекратить расстрел.

Что сделал берег? Он ждал слова «Потемкина». Вспомните, что сказали представители социал-демократических организаций стоявшим на берегу рабочим. Они предложили рабочим спокойно разойтись по домам и не предпринимать ничего до действий «Потемкина». Рабочие разошлись.

В город беспрепятственно приходили все новые и новые войска; матросы видели все растущую силу одесских властей и чувствовали, что там, на берегу, у них нет активной и сильной поддержки.

Еще сильней почувствовали они, что только в эскадре найдут они могучего союзника.

«Георгий» изменил, и рухнула последняя надежда на помощь эскадры. В умах матросов промелькнуло сознание своего одиночества; оно смутило их души и помогло кондукторам выполнить свой план — бегство в Румынию.

Самый удачный момент для развития восстания был потерян. В первые дни, когда, благодаря растерянности властей, колебаниям одесских полков было легко овладеть городом, мы бездействовали. И в нашем бездействии в значительной степени виновата наша изолированность. А дальше этот фактор чувствовался еще сильнее.

Были, конечно, и очень важные недостатки на корабле, значительно повлиявшие на нашу бездеятельность и сдачу.

Наиболее ощутительный дефект заключается в том, что в самые решительные минуты власть находилась в самых нерешительных руках. Я думаю, что, если читатель вспомнит главы о приходе эскадры, измене «Георгия» и феодосийской экспедиции, ему ясно станет, как сильно повлияло это обстоятельство на неуспех нашего восстания.

В Констанце. Высадка потемкинцев на румынский берег.

Серьезную ошибку сделали и мы—Кирилл, товарищ Афанасий и я—не устроив, в противовес тайной организации кондукторов, сплоченный кружок из наиболее решительных матросов. Читатель помнит, верно, что действия контр-революционеров на корабле были правильно организованы, что они имели успех благодаря тому, что революционеры не противопоставили им такой же организованности. Лучшие матросы в решительные минуты находились в машинных частях корабля, а та кучка решительных людей, которая была наверху, где решались судьбы восстания, была рассеяна и действовала вразброд.

Если бы 30—40 человек решительных матросов, повинуясь своему центру, схватили винтовки и, угрожая расстрелом всякому, вносящему панику в среду матросов, затем созвали бы

всю команду на собрание, то можно было бы снова овладеть командой и исправить тот недостаток, который происходил от отсутствия власти в наших руках.

Но мы, боясь внести раскол в среду команды, боясь прямо посмотреть в глаза тому, что уже существовало, не сделали этого.

Слабая агитация, обусловленная малым количеством агитаторских сил, и целый ряд других промахов, сделанных нами, дополняли друг друга и отрицательно действовали на ход восстания.

Не трусость и малодушие заставили матросов «Потемкина» сдаться; тут был целый ряд причин, лежавших вне их. И если кто-нибудь хочет правильно понять действие этих сил, то пусть он помнит, что матросы «Потемкина» не были какими-нибудь необыкновенными людьми, оставшимися непроницаемыми для условий окружающей среды; пусть он помнит, что, несмотря на смелость и самоотвержение этих людей, у них в момент восстания не было той могучей сознательности и веры в успех народной революции, которые позволяют обладателям их действовать прямо и решительно, без колебаний продолжать начатое дело. Пусть он помнит и то, что это были первые солдаты, вступившие на путь революции, не имевшие еще никакого предшествующего опыта, который показал бы им, что не они одни, а вся армия находится уже в оппозиции.

И как ни трагична была для революции развязка этого восстания, оно само все-таки не перестало от этого быть великим моментом русской революции. Достаточно вспомнить последующие восстания моряков и солдат, чтобы понять ту роль, которую сыграл «Потемкин» в русской революции.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

АРЕСТ И ПОБЕГ.

I. НА ГАУПТВАХТЕ.

«Броненосец скрылся с горизонта»... Весть эта отозвалась во мне мучительной болью. Сразу все то светлое и сильное, чем жили мы все эти дни, оборвалось, и бесконечная щемящая душу тоска охватила меня; все окружающее отвечало ей: мертвая тишина сковала опустевший город; солдаты и офицеры, пораженные только-что происшедшей драмой, угрюмо молчали.

Чем вызвано было это настроение? Изменой ли товарищей, оставивших нас в руках правительства, или смутной уверенностью в предстоящей сдаче? Я до сих пор не могу ответить на эти вопросы, разобраться в своих тогдашних переживаниях. С грустью вспоминал я о том, как миноноска в решительную минуту бежала, не подобрав даже раненых товарищей. Но еще больше томила меня неизвестность о будущих действиях «Потемкина». Мне вспоминался упадок настроения, вещие слова Задорожного о бегстве в Румынию; все это я сопоставил с угольной нуждой и с бегством из Феодосии, и невольно в душу закрадывалось сомнение, а мысль о том, что такое славное дело может закончиться сдачей, бесконечно мучила меня. Куда ушел броненосец? На запад или на восток? Сражаться иль сдаваться? Если б на восток, я бы простил тогда матросам и бегство и измену.

Самый же арест не страшил меня. Предыдущие дни так приучили стоять лицом к лицу со смертью, что и сама казнь не страшила. Наоборот, я настолько бодро глядел в будущее, что ощущал в себе силы бороться и в самых когтях властей. Мысль о суде, на котором я сумею обнаружить перед всем миром слабость самодержавия, сменялась мыслью о побеге... До суда я решил приложить все усилия, чтобы вырваться из рук палачей.

Мысль немедленно перешла к практической форме осуществления этого желания. Необходимо было сразу поставить себя так, чтоб была наибольшая возможность побега. Я прекрасно понимал, что надзор за мной будет гораздо строже, если обнаружат во мне «вольного», и я решил пока выдавать себя за матроса. Но опытность жандармов и предательство уже через несколько часов разоблачили меня.

Вскоре после ухода броненосца, у ворот сада показались два жандармских офицера и властно и уверенно направились к нам.

Охранявший нас офицер попытался было не пропустить их, ссылаясь на военное положение, но жандармский полковник грубо прикрикнул на него и подошел ко мне.

— Матрос?

— Так точно, ваше высокородие.

— Какой статьи?

— Первой статьи, ваше высокородие.

— Покажи руки. Ну, плохой же ты матрос,—продолжал полковник, рассматривая протянутые мною ладони, на которых не было и следа тяжелой матросской работы.

— Как зовут?

— Федор Микишкин.

— Запишите его имя, — обратился полковник к сопровождавшему его офицеру, — и справьтесь немедленно по телеграфу в Севастополе, есть ли такой.

Жандармы перешли к Кошубе.

Почему-то Кошуба назвался сначала не своим именем.

— Что, раскаиваешься ты в том, что столько бед натворил?— обратился полковник к третьему матросу, Ивану Задорожному.

— Чего жалеть-то? Хиба мы плохое что сотворили, — просто и спокойно ответил Задорожный, добродушный хохол.

— Ну, ладно! Когда вот перейдешь в мои руки, тогда пожалеешь!

Но прекрасным желаниям полковника не суждено было сбыться, так как почти в ту же минуту во двор вошла рота солдат, посланная начальником гарнизона Герцыком, с приказанием препроводить нас на военную гауптвахту.

Расставив роту в круг, офицер поместил нас в середине его и повел нас по совершенно пустым улицам; только около гауптвахты откуда-то появилась толпа рабочих и работниц и двинулась за нами. Лица их выражали сострадание и готовность помочь нам. Но... штыки сверкали...

На гауптвахте мы встретились с шестью другими матросами, уцелевшими каким-то чудом во время стрельбы; с ними был еще седьмой матрос, накануне ночью уплывший с броненосца на берег с тем, чтобы предаться в руки властей; он увидел меня и закричал: «Да ведь это наш студент!». Таким образом мое происхождение было сразу открыто.

Посадили нас в темные сырые одиночки, окна которых были плотно закрыты тяжелыми ставнями; свет и воздух проникали только через маленькие отверстия в дверях, выходящих в грязный коридор.

Через несколько дней после нашего заключения, к дверям моей камеры подошел какой-то солдатик-еврей. Назвавшись барабанщиком Мочедлобером, он стал говорить о том, как тяжело ему переносить мысль о недавнем расстреле матросов солдатами:

— Я не могу молчать, я должен протестовать! — заключил он свою возбужденную нервную речь. И тут же предложил мне свою помощь для побега.

Обстоятельства были довольно благоприятные: окно моей камеры выходило на улицу, где не было солдатского поста; оно было настолько невысоко, что подошедший с улицы человек мог легко распилить решетку и освободить меня. Таким же образом можно было устроить побег и Кошубе. Мочедлобер взялся исполнить все в эту же ночь...

Через несколько часов он стрелял в Герцыка...

Солдаты рассказывали, что Герцык, делая смотр солдатам, стал хвалить их за молодецкую стрельбу по матросам. И его наглая, полная цинизма речь прорвала накипевшее за эти дни в душе Мочедлобера чувство обиды и злобы к палачу; он выхватил винтовку из рук стоящего вблизи солдата и дал два выстрела по Герцыку.

Но волнение, вполне понятное при таком внезапном и сильном порыве, помешало ему попасть в цель, и на этот раз жертвой святой мести пал невинный солдат. Через месяц он был казнен... Так погибла эта чистая душа, не умевшая снести издевательства насильников.

Вместе с арестом Мочедлобера исчезла надежда на побег из феодосийской гауптвахты, так как в тот же день меня перевели в камеру, выходящую окном во двор гауптвахты, где поместили целую роту солдат. Кругом всего здания расставили часовых. Караул гауптвахты, едва насчитывавший прежде тридцать человек, был увеличен теперь до двух рот.

Это усиление надзора было произведено, как сообщил мне один офицер, по телеграфному приказанию Чухнина и продолжалось за все время нашего пребывания на гауптвахте, что сильно обозлило и без того негодовавших против начальства солдат. Эти внеочередные, лишенные всякого смысла дежурства в жаркую летнюю пору как бы говорили им, что они находятся не на родине, а в какой-то вражеской стране.

— Точно на войне с японцами, — говорили они друг другу.

Часто подходили они к нашим окнам и просили рассказать им, как мы начальство перебили.

И по мере того, как мы об'ясняли им, из-за чего и против чего мы боролись, лица их оживлялись, и все больше собиралось их около окон.

— Правду, ребята, матросики говорят, — раздавались восклицания,—и нам бы так давно... Да только... Эх! Не люди мы...

Иногда начиналось даже обсуждение плана восстания и главным препятствием служила неуверенность в других частях армии.

— Вам хорошо начинать: затворились на одном броненосце, у вас уж и сила, крепость... Там хоть пристанут другие, аль нет, а все же обороняться можете. А у нас — рота подымается, выйдет со своими винтовками, а на нее десять рот. Да и патроны опять же: наберем полные пояса патронов, а как расстреляем их, так нас без боя, как кур, возьмут, — говорили солдаты.

— Ну, да, впрочем, не унывайте: авось выручим еще вас, — закончили они свои речи, стараясь ободрить нас.

Только солдаты седьмой и девятой рот, те самые, которые стреляли по нас, сердито и угрюмо молчали во время своего дежурства. Да и эти вели себя так не из вражды к нам, а от стыда, пробудившегося в них под влиянием бойкота со стороны других солдат.

Совсем другое представляли из себя господа офицеры феодосийского гарнизона. Они частенько захаживали на гауптвахту и беседовали с матросами и солдатами. И таким диким человеконенавистничеством дышали их речи, что иногда страшно становилось за человеческую душу.

Особенно отличался в этом отношении некий поручик Померанцев. Признаюсь, я долго не мог решить, офицер это или жандарм,—до того гнусно и дико было его поведение.

Как-то ночью я проснулся от стука и увидал в камере двух офицеров; в одном из них я узнал поручика Померанцева, другого же, блестящего жандармского офицера, я видел в первый раз.

— Ваше имя и фамилия?—обратился ко мне последний, лишь только заметил мое пробуждение.

— Это вас не касается, — ответил я, совершенно проснувшись и поняв ночной визит жандарма. — Но нельзя ли избавить меня от ночных посещений?

— Простите,—с чисто жандармской вежливостью сказал офицер, — но я только-что приехал из Петербурга и мне надо немедленно ехать обратно. Так почему вы не хотите назвать своего имени? Ведь вас все равно откроют. Ну, а в последнем случае вы не станете ведь отрицать себя?

— Вероятно.

— Удивительная логика у всех революционеров. Вот Каляев, представьте себе, точно так же говорил со мной, а когда открыли его, признал свое имя... Не все ли равно вам, часом раньше или позже откроем мы вас?

— Об этом предоставьте мне судить самому.

— Может-быть, вы передумаете, я останусь до завтра.

— Как угодно.

— Господин капитан занят, — сказал вдруг Померанцев. — Вы скажите, можете ли вы завтра изменить свое решение, тогда он останется.

— Думаю, что это будет бесполезно.

Офицеры удалились; но все-таки жандармский и на другой день явился ко мне, тщетно стараясь узнать мое имя.

С тех пор Померанцев задался целью узнать мою фамилию и степень моего участия в бунте. Ради этого он заходил к матросам и обращался к ним с речью, в которой всячески убеждал их сказать мое имя.

— Если назовете его, братцы, то вам ничего не будет. А он— жид, что его жалеть-то. А не об'явите имя его, вам же плохо будет,—всех перевешают.

Но—увы!—все красноречие этого добровольного жандарма заранее было обречено на неудачу, по той простой причине, что никто из матросов не знал моего имени.

Погромная проповедь также была любимым занятием поручика Померанцева и прочей офицерской братии. Помню, как, зашедши вечером к нам на гауптвахту, он стал говорить с солдатами об акте Мочедлобера:

— Что это, ребята, думаете, он нечаянно солдата убил? Какой там! Ему лишь бы нашего брата, православного, уничтожить. И всю смуту ради этого жиды-то делают. И вы их бейте, режьте,

Экипаж «Потемкина» в Констанце.

штыками колите! Все равно в ответе не будете. Так и знайте: как еще один из них нашего брата убьет, так сейчас выходи на улицу и всех жидов режь!

Приблизительно то же самое говорил на гауптвахте и сам Герцык.

Таково было феодосийское офицерство.

На четвертый день нашего пребывания на гауптвахте мы узнали из газет, что «Потемкин» сдался...

Кто из читателей помнит, какими смелыми и гордыми надеждами мы жили на «Потемкине», тот может понять, какие чувства вызвала в нас сдача «Потемкина».

В те минуты я не мог еще хорошо разобраться в причинах сдачи, и она казалась мне изменой родному делу, страшным позором. Мне казалось, что весь мир с презрением и ненавистью смотрит на нас, что слово «потемкинец» стало синонимом измены и трусости. Я чувствовал и слышал кругом гул общественного

негодования и понимал, что я сам, как участник восстания, разделяю позор этой сдачи. С ужасом думал я о суде, на котором я предстану перед всем миром, и он казался мне днем всенародного поругания.

С жадностью ждал я газеты, и когда получил ее, то боялся раскрыть: мне казалось, что сейчас со столбцов ее на нас посыплются негодующие речи.

До сдачи «Потемкина» я бодро переносил свой арест. Прошедшие дни давали мне силу смело глядеть в будущее. Сдача затуманила блеск прошлого; оно на время ушло куда-то, и только одно слово «измена» осталось на месте его.

Так прожил я три недели.

II. ПЕРЕСЫЛКА И ПЛОВУЧАЯ ТЮРЬМА «ПРУТ».

Через десять дней после ареста нас перевели в пересыльную тюрьму.

Еще утром этого дня кто-то сообщил Кошубе, что ночью нас увезут в Севастополь, а на гауптвахте целый день совершались какие-то приготовления: к нам приходил какой-то писарь и снимал с нас подробный допрос о наших именах, чине и т. п.; во двор ввели еще несколько рот.

В десять часов вечера стали слышаться уже бряцанье офицерских шпор и слова команды.

В два часа ночи двери моей камеры растворились, и дежурный унтер-офицер произнес обычное «собирайтесь».

Я быстро натянул сапоги, накинул солдатскую шинель и, под конвоем нескольких солдат, ожидавших меня у дверей, вышел в караульное помещение [1].

Тусклая лампа слабо освещала движущуюся массу людей. В центре помещения стояли все арестованные в Феодосии матросы, переодетые в солдатское платье, а кругом стояли солдаты с винтовками. Унтер-офицер торопливо бегал между солдатами и шопотом давал им какие-то об'яснения.

Сквозь темный покров ночи я увидел, что на улице и во дворе также стоят солдаты. В темноте все принимало фантастические формы, и чудилось, что хищники совершали какое-то страшное дело.

Но вот вошел офицер, сделал перекличку, раздалась команда, и мы тронулись в путь. Кошуба и я шли рядом, мы чувствовали себя бодро.

— Все ближе к нашим матросикам будем; они в обиду не дадут! Да и скорей видно станет, что с нами будет, — сказал мне Кошуба.

Остальные матросы чувствовали себя, наоборот, очень плохо: им почему-то показалось, что их ведут на казнь. Кошубе и мне стоило больших усилий доказать им, что без суда нас не казнят.

[1] Комната, где находятся все свободные в данный момент солдаты.

Но было действительно что-то жуткое во всем этом шествии. Гулко раздавались шаги двухсот человек в ночной тишине. Впереди были штыки, позади—штыки, кругом—штыки... Мы выходили на все более и более глухие улицы и, наконец, вышли в поле. И по какому-то странному стечению обстоятельств, лишь только мы вышли в поле, где-то раздался залп. И невольно на ум приходила мысль о казни; думалось, что вот через месяц-другой так же поведут на нее, а каждый шаг наш все ближе и ближе приводил нас к этой развязке.

Но вот перед нами вынырнула тюрьма. Медленно растворились тяжелые ворота, и черный, как бездна, двор поглотил нас. Снова перекличка и обыск, после которых всех нас поместили в пересыльном помещении. Здесь я впервые получил возможность поговорить с остальными матросами, узнать их настроение.

Тот упадок духа, который чувствовался в последние дни на броненосце, отразился и на этих товарищах. Славные дни потемкинского господства были забыты; место их заняла сдача, измена товарищей, а впереди — голая плаха. И хотя матросы не выдавали открыто своей боязни, но чувствовалась в них какая-то пришибленность. Она ярко отразилась в их отношении к побегу.

В этот же день представлялась возможность бежать из пересыльной тюрьмы. Можно было бежать всем нам, но матросы энергично протестовали и всячески убеждали меня и Кошубу, решившихся уже бежать, оставить эту затею.

— Все равно переловят, и хуже будет; а так, может, помилуют, — аргументировали они.

Только Задорожный спокойно и даже с оттенком хохлацкого юмора относился к своему положению. Совсем иначе чувствовал себя Кошуба. Я встречался с ним два раза в день, во время обеда и ужина, и поражался его уменью заполнять свою жизнь. Он переживал время неофитства.

— Вот сегодня какое счастье мне привалило, — рассказывал однажды Кошуба, — знаешь, девушка одна подходила — товарищ, своя. Поглядела на меня этак грустно-грустно, а потом и пошли мне воздушный поцелуй...

И столько восторга и светлой радости было в его глазах, когда он произносил слова: «девушка-товарищ», что она невольно сообщилась и мне, и я чувствовал, что и со мной случилось сегодня что-то хорошее, светлое...

Или он начнет петь мне сложенные им стихи о славных потемкинских днях и о бедной доле матроса. Это было самым любимым его занятием.

Вообще же его любовь к «матросикам» заполняла все его существование и выражалась в крайней идеализации их: до восстания он любил их, как веселый удалой народ, теперь он восторгался ими, как первыми защитниками народа. Тем ужаснее было для него издевательство Чухнина, заставившего этих же самых «матросиков» расстрелять Кошубу.

В пересыльной тюрьме нас держали всего только сутки, но за это короткое время представлялась удобная возможность побега. Уголовные, узнав о грозящей нам казни, решили помочь нам бежать и для этого составили простой и хороший план.

Окна пересыльного помещения выходили в пустынный и небольшой двор, служивший для прогулок; в нем не было специальной стражи, но изредка его обходили часовые, дежурившие в других дворах тюрьмы.

План был составлен таким образом: в шесть часов вечера, когда по окончании прогулки двор пустеет, мы, посредством переданного нам лома, должны были проломить стену (работа эта, вследствие тонких стен, не должна была занять более двух часов) и через образовавшуюся брешь выйти во двор, а отсюда при помощи кошки [1] выбраться на улицу. Здесь нас должны были ждать «свои люди», которых уголовные известили о готовящемся побеге.

Совершенно обособленное, лишенное стражи, помещение пересыльного отделения позволяло нам, без всякого риска быть замеченными, производить свою работу, а о часовых нас предупреждали уголовные пением определенных песен.

Но этот план не удался по нашей же собственной оплошности. Еще утром, когда нам ничего не было известно о нем, мы потребовали от начальника тюрьмы прогулку; последний отказал нам. Тогда мы призвали его к себе и обещали перебить все, что было в камере, если наше требование не будет удовлетворено. Перепуганный офицер обещал нам.

И когда в шесть часов вечера надо было начать работу, нас вызвали на прогулку. Отказом от нее, после таких настойчивых требований, мы могли сразу возбудить подозрение начальства, и потому пришлось итти во двор. Прогулка продолжалась целый час, а после нас во двор вывели женщин. Только в восемь часов вечера могли мы начать работу. Но—увы!—через полчаса нас вызвали в контору: за нами явился конвой.

Уже спустилась ночь, когда мы под'ехали к Севастополю.

На вокзале нас окружил присланный специально за нами конвой и повел в морские экипажи.

Не без трепета вступал я в этот город, к которому непрерывно обращались наши взоры во время всего восстания. Здесь находилась эскадра и самые сознательные части флота, от слова которых зависел успех восстания. С жадностью прислушивались мы ко всему, что шло оттуда. Но Севастополь загадочно молчал. И когда уже все кончилось и «Потемкин» сдался, мы все еще надеялись, что Севастополь заговорит,—заговорит так, что затрясется самое подножие трона...

---

[1] Особое приспособление, состоящее из веревки, на конце которой привязано нечто вроде железного якоря. Якорь перекидывается через стену так, чтоб он вонзился своими остриями. Затем по веревке лезут на стену.

В глубине души таилась даже надежда на то, что товарищи матросы освободят нас.

С напряженным вниманием вглядывался я в темные улицы, думая, что вот-вот попадется нам навстречу отряд моряков. Известие о том, что нас ведут в экипаж [1], придало мне бодрости, и надежды, одна радостней другой, сменялись в моем воображении.

Скоро мы уже были в экипаже и остановились перед зданием морского суда. Дежурный матрос побежал докладывать офицеру, и через несколько минут последний появился вместе с отрядом вооруженных матросов.

Отпустив конвой, дежурный офицер послал одного матроса за приказаниями к начальнику экипажа, а сам расположился невдалеке от нас. Но тут Кошуба не выдержал и обратился к матросам с горьким упреком за то, что они не поддержали «потемкинцев», и призывал их исправить скорей свою ошибку, переколов всех офицеров.

Терроризированный, очевидно, тендровским избиением, офицер молчал и только нервным потаптываньем ног выдавал свое волнение и злобу...

Наконец, прибежал матрос с приказанием от начальства; нас окружили и повели в здание какого-то экипажа, где и разместили в двух больших камерах...

Офицер удалился, и сейчас же мы почувствовали себя среди товарищей: матросы обступили нас, принесли поесть, наперебой предлагали папиросы; пошли разговоры. Некоторые «потемкинцы» встретили здесь своих прежних товарищей. Посыпались приветствия, вопросы. Но новости, сообщенные матросами, были плохи: весь флот разоружен; с броненосцев выгрузили снаряды; от экипажей отобрали ружья; на многие корабли введена вооруженная пехота. Аресты произведены во всех частях; арестовано уж более трех тысяч матросов; все тюрьмы: крепостные, городские и пловучие переполнены, и недавно «Прут» превратили в пловучую тюрьму! Ходят слухи, что тридцать пять матросов расстреляны без суда, что остальных ожидает суровая кара...

В восемь часов утра нам приказали готовиться и вывели во двор. Там уж стоял взвод матросов и морской офицер. Ожидали только винтовок для конвойных матросов, за которыми отправили людей в солдатские казармы [2].

Наконец, принесли винтовки, и мы двинулись.

Конвойные матросы сообщили нам, что нас ведут на пловучую тюрьму «Прут». И действительно, нас привели к берегу и посадили в шлюпку. Сомнений больше быть не могло: нас везут на пловучую тюрьму. «Как попадешь туда, так уже и крышка. Никуда не уйдешь...» — вспомнил я слова матроса.

Сияло роскошное июньское утро. Солнце весело играло, погружая свои жгучие лучи в прохладные воды, а они точно томи-

[1] «Экипажами» во флоте назывались морские казармы.

[2] В казармах русского флота не было 20 винтовок. Такова была победа царизма над восстанием.

лись в неге от этой горячей ласки. Все говорило о жизни, о красоте, и так жить хотелось! А мы все ближе и ближе приближались к могиле...

Наконец, шлюпка остановилась у трапа «Прута». Дежурный матрос побежал докладывать командиру. Но последний, подошедши к трапу, заявил, что принять нас не может, так как на корабле нет больше свободных одиночек.

Минута напряженного ожидания, смутных надежд — и вдруг раздался чей-то голос, сразу разбивший эти надежды:

— Темные есть.

Нас повели наверх; мы были встречены командиром, окруженным морскими офицерами и каким-то армейским поручиком. Последний, исполнявший на корабле добросовестно и усердно роль тюремщика, вызвал солдат, которые обыскали нас и повели в тюремное отделение корабля, т.-е. трюм.

Небольшое отверстие, ведущее в трюм, было почти наглухо завешено парусиновым брезентом, для того, чтоб к заключенным не проникало слишком много света и воздуха. Страшное зловоние и мрак охватили нас, лишь только мы вошли в трюм, где содержались сотни арестованных. Воздух очищался только при помощи одного вентилятора и маленьких окошечек, какие бывают в трюмах больших пароходов... В наскоро построенных камерах, рассчитанных максимум на восемь человек, с двумя или тремя такими оконцами, сидело 20—30 матросов. Было до того жарко и душно, что матросы сидели совершенно раздетые; было до того тесно, что люди при малейшем резком движении топтали друг друга, а солдаты, стоявшие на часах, были мокры от пота... И при всем этом мириады клопов...

В светлых одиночках сиделось несколько легче... Нас рассадили по камерам.

Абсолютная темнота и удушливый воздух охватил меня; казалось, что я очутился под землей... Свежего воздуха почти не прибывало, а раскаленный борт корабля, к которому примыкала моя камера, обдавал меня страшным жаром. Я был лишен света и воздуха...

Камера моя была величиною в три шага, а когда я выпрямлялся, я доставал головою потолок.

Это была не камера, а клетка.

Ощупью нашел я койку и бросился на нее. Три прошедшие бессонные ночи сказались теперь, и я заснул сном праведника.

Проснувшись, я почувствовал, что тело мое горит и что-то большое и скользкое ползает по мне. В ужасе скинул я рубашку и прикоснулся рукой к голому телу, но в ту же секунду почувствовал, как сотни клопов ползут по моей руке; я был весь облеплен клопами. Я стал стучать, но получил ответ, что унтер с ключами ушел. Я стал сбрасывать с себя гадов, а они облепляли меня все новыми и новыми легионами. Наконец, мне удалось изгнать их. Тело мое было покрыто укусами, начался страшный зуд, и скоро весь я был в крови.

Я решил не прикасаться больше к койке и все время своего пребывания на «Пруте» провел в хождении из угла в угол. Спал я стоя.

Едва справившись с клопами, я открыл новых обитателей в своей клетке: я вдруг услышал писк и вслед за тем что-то пробежало между моими ногами. В недоумении я стал шарить кругом, но скоро все об'яснилось: это были крысы. Они появились откуда-то в несметном количестве, бегали и сновали у меня между ног и сидели на моих сапогах. Я прогонял их, но они снова являлись громадными толпами.

На «Пруте» содержались матросы самых различных частей флота.

Ужасные условия заключения и слухи о бывших и грядущих казнях не могли не наложить самого тяжелого отпечатка на настроение заключенных матросов, почти сплошь принадлежавших к самым несознательным элементам флота. Все они были охвачены паникой. Какая-то пришибленность, уныние лежали на всех... И иногда даже полз тихий, но страшный шопот провокации... В этом отношении отличался вернувшийся из Румынии какой-то «потемкинский фельдфебель».

Однажды на судно приехал жандармский полковник для производства следствия. Вызвали и меня к нему. После непродолжительного допроса он приказал ввести кого-то. Солдаты ввели вышеупомянутого фельдфебеля.

— Этот?—спросил его жандарм, указывая на меня.

— Так точно, ваше высокородие.

— Как назывался на броненосце?

— Ивановым Матвеем, ваше высокородие.

В другой раз меня вызвали наверх; войдя в какую-то каюту, куда меня привели, я увидел нашего бывшего командира Алексеева.

В то время я еще не разобрался хорошо во всех его действиях на броненосце, и вид человека, с которым мне пришлось так много пережить, заставил меня забыть всю прежнюю вражду к нему. С неподдельной радостью бросился я к Алексееву и протянул ему руку. Но он холодно отвернулся и, не ответив на мое приветствие, сказал кому-то:

— Да, это он.

Тут только я заметил, что в каюте находится прежний жандармский полковник.

Меня, очевидно, вызвали сюда для удостоверения личности. Прежде чем я успел опомниться, солдаты вывели меня. Я весь дрожал от возмущения и крик «негодяй» невольно вырвался из моих уст, когда я уже был за дверью. Не знаю, слышал ли его Алексеев, но думаю, что вряд ли бы он пробудил движение совести в душе этого «честного буржуа».

На другой день мое имя было открыто, а еще через день меня перевели в гражданскую тюрьму.

Еще утром этого дня меня предупредил об этом командир «Прута», и в четыре часа дежурный унтер-офицер приказал мне собираться.

Наступила тяжелая минута последнего прощания с товарищами и Кошубой. Последний, увидав, что меня уводят, стал бешено стучать в двери своей камеры; я бросился к нему, но конвойные удержали меня. Однако сильным движением я вырвался из их рук и подбежал к Кошубе...

. . . . . .

III. В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ.

Катер быстро и шумно мчал меня к берегу.

Но теперь я не радовался тому, чего раньше так страстно и сильно желал: мысль о том, что Кошуба остался один, бесконечно мучила меня. Его образ в минуту прощания стоял передо мной, а в глазах его я читал немой укор за то, что я покидаю его. В ушах непрерывно звучали его последние пламенные слова о мести.

Катер пристал к берегу; грубый толчок одного из конвоировавших солдат вывел меня из задумчивости.

Через полчаса мы уже находились в тюремной конторе. Дежурный помощник вызвал надзирателей, приказал обыскать меня и отвести в больницу, где меня посадили в большую и светлую палату.

Больничное здание севастопольской тюрьмы было расположено в особом небольшом дворике, который одной стеной своей упирался в здание женского корпуса, а другою отделялся от улицы. Полное отсутствие часовых, за исключением одного надзирателя, дежурившего в больнице, само по себе сулило возможность побега. Не завязав еще сношений с товарищами, я решился познакомиться поближе со стерегшими меня надзирателями [1] и действовать на свой собственный риск. Один из них оказался поляком. Из разговоров я узнал, что он настроен оппозиционно; что находится на тюремной службе только потому, что, не зная никакого ремесла, не может взяться за физический труд; что тюремная служба ему надоела, и он бросил бы ее с удовольствием. Из Польши он уехал только потому, что стыдно было перед товарищами служить в тюрьме. Много рассказывал он о родине, о кровавых расстрелах, свидетелем которых он был, и рассказывал это так искренно, что не могло быть и сомнения в честности этого человека. Все это так расположило меня к нему, что после трехдневного знакомства с ним я предложил ему удрать ночью вместе со мною. Поляк выслушал очень внимательно мое предложение и нашел побег вполне возможным, но окончательный ответ обещал дать вечером.

---

[1] В тюрьме каждый пост обслуживают два надзирателя, сменяя друг друга через каждые шесть часов.

Через два часа его сменили; следующее его дежурство должно было начаться только в двенадцать часов ночи.

Томительно долго тянулось время и, наконец, пробило полночь; в коридоре раздался стук; произошла смена. Но, к моему удивлению, поляк не подошел ко мне; я провел еще несколько часов в напряженном ожидании и, решив, что он еще раздумывает, лег спать.

Однако на другой день, утром, у меня возникли подозрения в честности поляка. Случай помог мне. Товарищи передали мне газету, и, зная, что сейчас дежурит поляк, я без всякой осторожности принялся за чтение ее; вдруг кто-то подошел со двора к моему окну и, крикнув: «спрячьте газету, ваш надзиратель заметил и донес начальству», скрылся, прежде чем я успел заметить его.

Не особенно доверяя этому извещению, я все-таки спрятал газету; но через несколько минут ко мне в камеру, действительно, вошел старший надзиратель и потребовал газету.

— Ищите, если вам угодно, — ответил я.

Обыск не дал никаких результатов, так как газета была спрятана в очень укромном месте.

— Чего же ты звал меня? — огрызнулся «старший» на поляка.

— Да я сам видел газету в их руках, — виновато ответил последний.

— Плохо глядишь ты!—проворчал старший и вышел из камеры.

— Почему вы донесли? — обратился я к поляку.

— А не читайте так, чтоб вся прогулка видела; я не могу из-за вас места лишиться.

Но этот ответ не удовлетворил меня, и я стал подозревать в поляке предателя.

Мое предположение не было напрасным: в тот же день меня перевели из больницы в тюремный корпус, а через неделю я узнал через товарищей о том, что поляк передал весь наш разговор начальству.

Перевод в тюремный корпус, однако, не очень огорчил меня: хотя исчезла надежда на скорый побег и надзор за мной был усилен, я радовался тому, что очутился среди товарищей, очень тепло принявших меня. Близкое соприкосновение с ними и разговоры о «Потемкине» заставили меня снова передумать всю историю его, и так как в это время прошел первый острый период горя, которое вызвала во мне потемкинская сдача, я мог спокойно и об'ективно отнестись к ней.

Потемкинское восстание перестало казаться мне «авантюрой», как выразился я о нем в своем письме к друзьям из тюремной больницы; наоборот, теперь я видел в нем один из великих этапов революции. Сознание, что я участвовал в нем, вливало в меня новую струю бодрости. Суд уж не страшил меня, и снова я думал о нем с гордо поднятой головой.

Через неделю я получил первую записку от друзей, приехавших устраивать побег. Содержание было следующее:

«Ключ [1]:

Город, где жил Н...

Город, где М... была арестована.

Город, где Р... жил в ссылке.

Город, где Я... жил в 1904 году.

Город, где вы жили в 1905 году.

При помощи этого ключа условьтесь о более богатом».

Дальше следовали зашифрованные строчки, в которых товарищи спрашивали, есть ли надежда на побег и что для этого нужно.

Записка была составлена очень умело: она позволяла нам условиться о ключе так, чтобы почтальон [2] не знал его, и сразу обнаруживала свое непровокаторское происхождение, так как только близкие друзья могли знать такие подробности о жизни моих товарищей.

Немедля, я составил ответную записку, в которой уславливался о шифре, просил сообщить о том, кто из друзей приехал, и указывал возможность побега.

Переписка была организована. Началось обсуждение побега, для организации которого было прислано несколько энергичных и опытных товарищей следующими организациями: Одесским комитетом с.-д. партии; Одесским комитетом «Бунда», Киевским комитетом партии «меньшинства»; Севастопольский комитет партии был тоже привлечен к участию.

В тюрьме также образовался своего рода об'единенный комитет из одного социал-демократа, которого я назову Н. [3], социалиста-революционера и меня; позднее в него вошел еще один социал-революционер Мышкин. Каждый шаг, каждый план дружно обсуждался им. Чтобы меня не замечали в переписке, наш «почтальон» приносил записку с воли одному из членов комитета, большею частью Н., который расшифровывал ее, делал свои заключения и отсылал мне. Я обдумывал ее и, если дело было серьезное, передавал другим товарищам; сделав затем сводку всем мнениям, я писал ответ на волю тем же порядком, т.-е. отсылал его Н., который зашифровывал все и передавал «почтальону».

Прежде всего решили послать на волю план тюрьмы; два дня мы трудились над ним и, наконец, после единогласного утверждения отправили его «вольным».

---

[1] Ключом называются те слова, при помощи которых шифруют записки. Обыкновенно для этого служат страницы какой-нибудь книги.

[2] Почтальоном служил один из тюремных надзирателей по фамилии Голубь.

[3] Товарищ этот — бывший ученик одесского художественного училища, с которым я был связан по работе в Одессе. В тот момент он случайно очутился в севастопольской тюрьме. Фамилии его, я, к сожалению, не помню.

Через неделю из массы предположений и планов выдвинулись два проекта. Первый, исходивший от нас, отличался большим риском; было много шансов быть пойманным погоней, которая должна была последовать через три-четыре минуты после побега. Второй план, исходивший от «вольных», отличался меньшим риском и бил почти на верный успех, но на устройство его понадобилось бы не менее двух недель. Вот из-за последнего-то обстоятельства второй проект казался неприемлемым тюремному «комитету». Дело в том, что я находился под военным судом и содержался в городе, который был на военном положении. Благодаря доносу больничного надзирателя, власти были предупреждены о подготовке к побегу; их подозрение усиливалось ежедневно, и надзор за мной с каждым днем делался все строже.

Все это давало повод предполагать, что меня могут снова перевести на одну из пловучих тюрем. В таком случае промедление было величайшим риском: оно могло привести к абсолютной невозможности побега. Между тем, при участии смелых и решительных людей, первый проект имел много шансов на успех, Исходя из этих соображений, мы настаивали на приведении в исполнение нашего плана; но все-таки нам пришлось уступить «вольным», так как выяснилось, что при нашем проекте рискуют многие товарищи.

«Вольные» принялись за подготовку своего плана, а мне надо было терпеливо ждать...

В продолжение нескольких дней все шло своим чередом; «вольные» ежедневно осведомляли нас о ходе подготовительных работ; я вел себя чрезвычайно скромно, не вступал в пререкания с начальством, и казалось даже, что мне удалось рассеять его подозрения.

Только один раз разгневал я начальника тюрьмы: моя камера находилась на четвертом этаже, я прекрасно видел все, что происходит на улице, и поэтому усиленно просил одного из «вольных» пройти мимо здания тюрьмы. Товарищ согласился исполнить мою просьбу и однажды прошел несколько раз мимо тюрьмы. Это свидание привело меня в такой восторг, что я изо всех сил стал горланить какую-то революционную песню.

Как раз по двору проходил начальник тюрьмы: «Тише, перестаньте петь!»—кричали мне товарищи. Но, опьяненный восторгом, я не слышал их и продолжал свое занятие. Очнулся я уже в новой камере на первом этаже, куда разгневанный начальник приказал перевести «соловья».

— Здравствуйте, товарищ,—раздался откуда-то с потолка чей-то мягкий и задушевный голос, лишь только надзиратель захлопнул дверь моего нового обиталища.

Я оглянулся и сразу понял, в чем дело: товарищ-сосед, очевидно, проделал отверстие в стене и говорил через него; вскочив на скамью, я, не видя товарища, стал разговаривать с ним. Он назвал себя социалистом-революционером Мышкиным; встреча

с ним оставила во мне такие светлые воспоминания, что я не могу не поделиться ими с читателем...

Приглядываясь к революционной среде, я с грустью думал о том, что носителей идеи нельзя смешивать с самыми идеями. Тип идеального революционера, живущего всецело идеей, вносящего элемент идеализма в каждое движение свое, все реже и реже встречался в революционном подполье. А за последнее время, когда революция охватила самые широкие массы населения, в среде революционной интеллигенции такие идеалистические личности становятся единицами.

Но Мышкин оживил передо мной образ революционера семидесятых годов. В то время, когда я с ним встретился, он сидел в одиночном заключении четвертый год, и все это время он находился под следствием. Товарищей, арестованных по одному с ним делу, давно уже сослали в Сибирь, и некоторые даже отбыли наказания. Но Мышкина, вследствие пустого знакомства с Фомой Качурой, жандармы заподозрели в участии в боевой организации и три года ищут улик против него. Товарищи забыли про него; человек, состоявший с ним в близкой связи, ушел от него, и уже полтора года Мышкин сидел без свиданий. Но он не обвинял друзей и не разочаровался в товариществе; напротив, выше всего он ставил последнее. Поведение же товарищей он об'яснял тем, что они заняты «делом», и им было не до него.

— Революционерам нельзя жить личностями; их притягивает дело, и ему они должны отдавать все свои силы и время,—сказал он мне,—я даже думаю, что мы совсем должны отречься от личной жизни: ведь столько сил отнимает она...

Печать мученичества лежала на всех его мыслях и порывах. Мысль о том, что рядом с ним сидит товарищ, которому грозит казнь, бесконечно угнетала и мучила Мышкина. С чрезвычайной мягкостью и чуткостью, присущей его натуре, он относился ко мне и старался ободрить меня. Каждую минуту чувствовал я, что рядом со мной сидит человек близкий и любящий, который без колебания принял бы на себя мою участь. Но, бесконечно страдая за товарищей, любя их всей силой своей души, он требовал от них прежде всего гордости и непреклонности по отношению к врагам.

— Ни одной мольбы, ни одного звука страдания не должны они услышать из наших уст, — часто говорил он мне, — и если вы хотите сохранить душевное равновесие, то держите себя так, чтобы враг преклонил колени перед вашим мужеством. Помните, что дороже всего в мире для революционера честь; и если на ней будет пятно, то оно отравит последнее утешение — сознание своей правоты; тогда ваши же товарищи отвернутся от вас, и я первый брошу в вас грязью.

Когда он говорил так, я чувствовал, что в этом случае не найдется слова прощения в душе этого мягкого человека.

В часы, которые я проводил с Мышкиным, я забывал и о тюрьме, и о казни; предо мною витал только идеал социализма.

лучезарный и ясный, и дорога к нему, усеянная трупами и покрытая страданиями, по которой гордо и смело шествует революционер, такой же прекрасный, как сама идея, осеняющая его. И когда я вспоминал о Мышкине, я думал, что и он будет в числе бесчисленных трупов, валяющихся на ней. Я не ошибся. Через месяц после освобождения Мышкин был убит во время феодосийского погрома.

Для успешного выполнения задуманного плана мне надо было быть переведенным в другую камеру. По совету товарищей я должен был за два дня до побега попросить начальника тюрьмы перевести меня в другое место, на том основании, что работающий по соседству с моей камерой сапожник-уголовный своим стуком не дает спать. Так как свободной камеры, кроме той, которая нужна была мне, не было, то предполагалось, что меня переведут именно в нее.

Когда в шесть часов вечера ко мне вошел для обычной проверки начальник тюрьмы, я обратился к нему с соответствующей просьбой.

В ответ раздались слова хуже отказа:

— Да вам все равно недолго здесь сидеть: скоро вас переведут в другую тюрьму!

«Скоро» на языке начальника значило «завтра». Завтра меня снова переведут на пловучку или в тюрьму, откуда побег невозможен. Наши опасения не оказались напрасными. На Мышкина эта новость подействовала так удручающе, что даже мне пришлось утешать его. Когда оба мы справились, наконец, с первым впечатлением неожиданной вести, у нас явилось желание бороться до последней крайности. Снова стали мы перебирать в уме все входы и выходы тюрьмы, и вдруг обнаружили новую возможность побега; все можно было устроить в следующую ночь.

Я изложил весь новый план на бумаге и переслал другим членам нашего комитета, но было уже четыре часа ночи; товарищи уже спали и записку могли получить с утренней проверкой.

Утром на прогулке я встретился с Н. Известие о переводе подействовало на него так же, как и на Мышкина; он уже передал записку в город, но, как бы предчувствуя, что все напрасно, с грустью смотрел на меня. Проходя после прогулки к себе, он подбежал к дверям моей камеры, открыл волчок [1] и послал мне горячий привет.

Волнение товарища сообщилось и мне, и я захотел увидать Мышкина. Несмотря на всю нашу близость, мы еще не видали друг друга; маленькое отверстие, через которое мы говорили, не позволяло нам видеть лица собеседника; на прогулку же нас выводили в одно время, но гуляли мы на разных дворах.

Я сообщил о своем желании Мышкину.

---

[1] Волчок — небольшое отверстие в дверях камеры, через которое надзиратели наблюдают за арестованными и передают им пищу.

— Ладно, — ответил последний, — я сегодня откажусь от прогулки и буду сидеть у окна, таким образом, мы увидимся, когда вас будут выводить гулять.

С нетерпением ждал я прогулки, и, когда отворили двери моей камеры и надзиратель прокричал «на прогулку», я почти бегом бросился во двор.

За решеткой окна Мышкина я увидел большие черные глаза. Эти глаза, полные тоски и ласки, занимали все его лицо; никогда не забыть их мне! Увидев меня, Мышкин попробовал ободряюще улыбнуться, но в эту минуту отворились тюремные ворота, и во двор вошли два конвойных солдата.

— За вами, — невольно вскрикнул Мышкин.

Он не ошибся; через несколько минут мне приказали собираться. Когда я подходил к дверям камеры, Мышкин стал неистово стучать в дверь. Испуганный надзиратель поспешил открыть ее, и мы бросились друг к другу.

— Прощайте и будьте бодры, — прошептал он.

— Помните обо мне, — ответил я.

Через несколько минут я уже шагал по тюремному двору к воротам; все товарищи стояли у окон.

— Прощайте, товарищи! — крикнул я им.

— До свиданья, товарищ!

— Мы еще придем за вами!..

— Освободим вас!.. — загудела тюрьма.

Ворота захлопнулись...

IV. НА ВОЕННОЙ ГАУПТВАХТЕ.—ПОБЕГ.

Мы шли по пыльным и жарким улицам; тяжелая солдатская шинель, висевшая у меня на плечах, душила меня, но еще больше томила меня неизвестность. Из разговора с солдатами я узнал, что меня ведут в штаб крепости, а оттуда отправят в другую тюрьму. О последней солдаты сами ничего не знали.

Был табельный день, и перед зданием штаба крепости происходил парад, на котором должен был присутствовать Чухнин. Офицеры штаба участвовали в параде, и мне пришлось долго ждать окончания его. Чтобы убить время, я стал наблюдать за ним через открытое окно штабного помещения. Живописно расположенные отряды солдат и матросов, стоявших в ожидании парада в свободных позах, группы смеющихся офицеров, лязг оружия и весело блистающие на солнце яркие краски военщины создавали такую праздничную картину, что я невольно залюбовался ею. На минуту я даже забыл, что все эти люди пришли сюда по приказу, что по этому же приказу они начнут делать сейчас какое-то ненужное и неинтересное им дело; казалось, напротив, что все присутствующие охвачены одной идеей, одной общей радостью.

Но вот где-то раздается и проносится по рядам крик «смирно!»... В ту же минуту офицеры бросились по местам, сол-

даты выпрямились, и все застыло. Где-то раздалось солдатское приветствие и, приближаясь к нам, остановилось у окон штаба; перед нами появился Чухнин.

Маленького роста, толстый, с большой головой на короткой шее, он производил впечатление какой-то каракатицы. И каракатица повернулась лицом к матросам и стала произносить речь. Я оглянулся кругом и увидел, что конвойные всецело поглощены происходящим на параде; дверь на улицу была открыта. Осторожно сделал я несколько шагов вперед... минута... и я свободен!.. Вдруг раздается бряцанье шпор и прямо против меня в дверях вырос офицер. Услышали бряцанье и солдаты, и мелькнувшая передо мною свобода снова исчезла.

— По распоряжению главного командира вице-адмирала Чухнина, вас переводят в военную гауптвахту, — обратился ко мне вошедший, который оказался ад'ютантом начальника штаба капитаном Олонгрэн. — Всякие заявления о книгах, продуктах вы можете делать мне лично при обходах. Но советую вам держать себя осторожно. Знаете, на гауптвахте все по-военному: винтовки заряжены, охрана имеет полномочия действовать оружием... Солдаты, — добавил он, — отведите арестованного на главную военную гауптвахту.

Конвойные снова окружили меня, и мы тронулись. Солнце уже перевалило за полдень, когда мы вошли, наконец, в гауптвахту. Она представляла одноэтажное здание, обнесенное со всех сторон высокой стеной. Небольшая дверь, около которой ходил непрерывно часовой, вела в большую и светлую комнату — караульное помещение, наполненное солдатами, которые обыскали меня и через длинный коридор провели в камеру.

Тяжелая, покрытая железом, дверь захлопнулась за мной, и я очутился один в довольно большом и светлом помещении. При первом же беглом осмотре ее я заметил, что побег отсюда невозможен: толстые стены, высокие с прочными решетками окна, часовые, гуляющие вдоль окон и дверей, множество солдат, рассеянных повсюду, делали мысль о побеге невозможной и абсурдной.

Сначала меня охватила бешеная злоба на Чухнина, по милости которого я попал сюда; я вспомнил коротенькую фигуру и готов был бы изорвать ее, если бы только она попалась в мои руки.

Маршируя в таком настроении из угла в угол, я почувствовал с особой чуткостью, развивающейся во время одиночного заключения, что кто-то стоит у моего волчка. Я подошел к двери.

— Не нужно ли чего в город передать, господин студент, — раздался в ту же минуту из-за нее чей-то голос.

— А вы кто такой? — спросил я говорившего.

— Сторож при гауптвахте.

Я, конечно, согласился на это предложение, и через несколько минут сторож отправился в город с запиской.

Вечером Бурцев (так звали сторожа) вошел в мою камеру и передал ответ товарищей. Только теперь я увидал хорошо этого человека, сыгравшего впоследствии такую важную роль в моей жизни.

По его длинным русым усам, немного калмыцкой голове, бесконечному юмору и плутовству, светящемуся на его лице, в нем сразу можно было узнать малоросса, умного, пронырливого и беспечно-веселого.

«С ним нужно держать ухо востро: вокруг пальца обведет»,— подумал я, глядя на него.

— Если хотите, я завтра могу еще одну записочку снести, — сказал мне Бурцев.

— Ладно, — ответил я, — завтра поговорим.

Бурцев удалился.

Несколько дней прошло в самой пустой переписке, но ясно было, что обе стороны, т.-е. и я и «вольные» товарищи, с одной стороны, а Бурцев—с другой, смотрят на нее, как на что-то необходимое, за чем должно последовать другое, более важное. И мы и Бурцев чувствовали, что пока идет только настройка инструмента, а самая игра еще впереди. Но никто из нас не решался начать ее.

В таком выжидательном положении прошла неделя.

Переписка не занимала пока у меня много времени, и, пользуясь этим обстоятельством, я стал наблюдать жизнь тюрьмы.

Однажды, передав мне записку с воли, Бурцев лукаво подмигнул мне и сказал:

— Ну, что же, господин студент, бежать надо?!

— Да, это не мешает, — спокойно ответил я. — А разве отсюда уйдешь?

— Уйти-то можно, только бы деньги были, чтобы солдат подкупить.

— Ну, ладно, — ответил я, — переговоришь сегодня с «вольными».

Я часто задавал себе вопрос о том, что заставило Бурцева сделать этот первый шаг, и сначала не мог дать себе прямого ответа. Было в нем что-то плутовское, что не позволяло вполне доверять ему; и я думаю, что подошел он к нам из корыстных целей. Не особенно доверяя ему, и «вольные» и я занялись пока пропагандой его; мы пользовались каждым моментом, чтобы пробудить в нем хорошие чувства и сделать сознательным и честным человеком. Умный и впечатлительный, как и все малороссы, Бурцев скоро начал поддаваться нашей пропаганде, и мне пришлось наблюдать замечательное явление: перерождение человека. С каждым днем можно было наблюдать, как он все строже и вдумчивее относился к нашим словам и из ловкого авантюриста превращался в вполне убежденного человека, готового пойти на все, чтобы спасти товарища. Тогда «вольные» и я по-

няли, что наступил самый подходящий момент для решительных действий.

Снова начались для меня тревожные дни обсуждения проектов побега. Усиленная переписка отнимала массу энергии, так как сильно затруднялась тем положением, в котором находился Бурцев.

Дело в том, что караул на гауптвахте менялся ежедневно; но, кроме часовых, здесь были еще сторожа, исполнявшие чисто хозяйственные функции: приносили арестованным обед и ужин, тушили лампы, убирали коридоры.

Сторожа эти (всего их было шесть человек) находились постоянно при гауптвахте, а начальником их был Бурцев, состоявший в чине ефрейтора. Сторожам запрещалось подходить к камерам арестованных, за исключением времени обеда и ужина, когда тут же находился унтер-офицер.

Благодаря этому обстоятельству, сношения со мной были крайне затруднительны, и понадобилась вся хитрость и смышленность Бурцева для того, чтобы при таких условиях вести частую переписку и продолжительные разговоры.

Меня эта переписка изнуряла до крайности. Бывало, в двенадцать часов ночи я просыпался от стука: предо мной стоял и унтер-офицер и Бурцев, в руках которого чайник с кипяченой водой.

— Вам фельдшер приказал на ночь кипяток, — получите, — обращается он ко мне, ставя чайник на стол, и ловким движением кладет под него записку.

Двери затворяются, и мне, несмотря на бешеное желание спать, приходится начинать чаепитие.

Утром надо просыпаться с зарей, чтобы не пропустить удобного момента для передачи ответной записки; и целый день проходит в таком ожидании; ни на минуту не решаешься заснуть, чтобы не пропустить прихода Бурцева, а вечером опять ждешь письма «вольных», часто до двух часов ночи.

После двухнедельной переписки было намечено несколько планов. Все эти планы можно было разделить на такие, при выполнении которых мы обходили всех часовых, и такие, для которых нужно было заручиться помощью хотя бы одного часового.

Первые, конечно, были сопряжены с известным риском и отличались большой сложностью; вторые, наоборот, отличались простотой и били на верный успех; но короткие дежурства солдат не позволяли нам привлечь их к нашему делу. В виду этого обстоятельства, мы сделали попытку привести в исполнение один из первых проектов. Он состоял в следующем: я уже говорил, что утром арестованных выводили умываться. Умывальники [1] были расположены в небольшом коридоре, который соединялся с караульным помещением; против же самых умывальников находилась небольшая комната, служившая м. дейхгаузом [2].

[1] См. план тюрьмы стр. 101.
[2] Склад солдатского инвентаря.

Рядом с последней находилась надзирательская, помещение сторожей. Сторожа же носили особую форму и благодаря этому могли свободно входить и выходить из гауптвахты; за короткое время дежурства часовые не могли знать в лицо сторожей и различали их по форме. На этом последнем обстоятельстве мы и построили довольно простой план побега.

Пользуясь своим почти бесконтрольным заведыванием хозяйством гауптвахты, Бурцев решил в утро, когда будет дежурить «хороший» унтер, устроить проветривание тюремных постелей. Арестованные должны были внести их в мал. цейхауз, из которого сторожа выносили их во двор гауптвахты. Для этого последним надо было войти в караульную, пройти ее и через дверь, выходящую на площадку часового, выйти на улицу. Затем они заворачивали за угол стены и через тюремные ворота входили во двор гауптвахты.

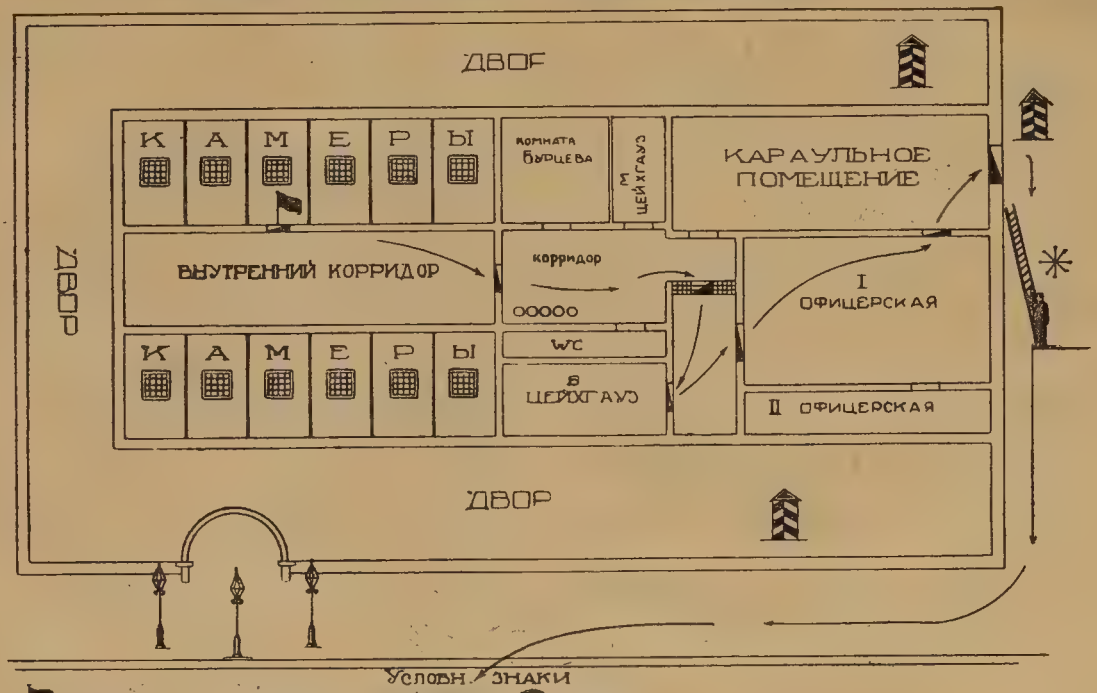
Выйдя в этот день умываться вместе с несколькими арестованными, я должен был незаметно, в тот момент, когда Бурцев отвлекал внимание часовых при помощи порнографических открыток, войти в мал. цейхгауз, быстро переодеться в заранее приготовленное платье тюремного сторожа, накинуть на голову тюфяк и под видом сторожа выйти на улицу, завернуть за угол и затем бежать.

Однажды вечером Бурцев сказал мне, что завтра свершится побег. На другой день действительно уже с шести часов утра открыли камеры всех арестованных, и они целыми толпами шли умываться. Открыли и мою камеру; сквозь решетчатую дверь, отделявшую наш (внутренний) коридор от другого коридора, я увидел сторожей, выносящих тюфяки, и Бурцева, показывавшего солдатам какие-то открытки. Я готов был итти, но Бурцев не дал мне условленного пароля. В ожидании его я занялся уборкой своей камеры; кончил и это дело, а Бурцев все не давал пароля. Мне же и в голову не приходила мысль, что Бурцев мог забыть это сделать. Когда же он опомнился, было уже поздно: унтер заметил мою возню, и, когда я пошел, наконец, умываться, отправил за мною двух часовых. Эта неудача заставила нас попытаться провести другой проект, с которым я сейчас познакомлю читателя.

Принцип его был тождественен с вышеописанным проектом: я должен был выйти из гауптвахты под видом тюремного сторожа. Но для этого мы решили воспользоваться другим моментом — тушением фонарей, производящимся сторожами между 3—4 часами утра. Фонари эти находились перед входом в здание гауптвахты и во дворе последней, где непрерывно шагали часовые.

Таким образом, переодевшись в платье сторожа, я, под предлогом тушения фонарей, находящихся во дворе, мог выйти на улицу, направиться к воротам, но, скрывшись с глаз часовых, пойти по другому направлению в город; но и в этом случае побег

ПЛАН ВОЕННОЙ ГАУПТВАХТЫ.



Услов. знаки

- Камера в котор. наход. тов Фельдман
- Двери через которые он прошел во время побега
- WC - Уборная
- Решетка с дверью
- Ворота
- Фонари
- Место где ждал Бурцев с лестницей
- Сторож. будка
- Стрелка показыв. направление пути
- ОО - Умывальники

был очень рискован, так как в караульном помещении находились и унтер-офицеры, и солдаты меня легко могли бы узнать.

Тогда наш план несколько видоизменился.

В три часа ночи я должен был выйти во внутренний коридор, в котором находилась моя камера, а оттуда в другой коридор, повернуть направо в небольшую проходную комнату, выйти в другой, большой цейхгауз, переодеться там и, выйдя снова в коридор, войти в офицерскую комнату, находящуюся против цейхгауза. Другая дверь офицерской также выходит в караульное помещение, но около самого выхода из последней на улицу. Таким образом, я мог пройти через караульное помещение так быстро, что находившиеся здесь солдаты не могли узнать меня.

Существовали три обстоятельства, препятствующие проведению этого плана: часовой, непрерывно марширующий во внутреннем коридоре, замок в дверях моей камеры и офицеры, находящиеся в офицерской. Однако с замком Бурцев справился очень скоро. Однажды он напоил дежурного унтер-офицера и во время его сердечных излияний снял мерку с ключа для одиночных камер; а по снятой мерке товарищи приготовили новый ключ. Офицеров Бурцев обошел еще проще. Пользуясь неограниченным доверием в штабе крепости, он заявил, что «офицерская» нуждается в немедленном ремонте. Штаб распорядился о ремонте; офицеров перевели в другую комнату, и благодаря этому «офицерская» по ночам была пустая.

Но если эти два препятствия мы обошли очень легко, то первое было почти непреодолимо: привлечь на свою сторону часового за шесть часов его дежурства было невозможно.

Решено было поэтому усыпить его соответствующими папиросами. Сначала Бурцев сочувственно отнесся к этой мысли, но когда надо было приступить к делу, он стал оттягивать и предлагал снова подождать немного, пока удастся привлечение часового. Эта уверенность Бурцева в возможности даже за такой короткий срок приобрести сочувствие часового основывалась на его могучей вере в «еврейство». Он верил, что каждый еврей сочувствует революции, и стоит ему сказать одно слово, чтобы заставить действовать с нами.

— Уж ты, Костенька, подожди, — часто говорил он мне, — только придет на этот пост часовой-еврей! Как придет, так сейчас и уйдешь, — в этом не сомневайся! Эх, евреи—золотой народ!— заканчивал он, захлебываясь даже от восторга.

Сомневаюсь, прав ли он был вообще в своей вере в еврейскую революционность; но на этот раз «еврейство» не обмануло его.

Как-то утром, когда, вследствие бесконечного оттягивания Бурцевым своего обещания усыпить часового, мы решили уже проститься с вышеописанным планом и испробовать другие способы бегства, он подошел к моей камере и, сказав: «Сегодня в третьей смене часовой—еврей, действуй!», куда-то исчез.

Попав уже однажды на предателя в опыте с поляком и не разделяя веры в «еврейство», я отнесся скептически к его словам и про себя решил даже не говорить с часовым.

Но все-таки, когда в час дня вступила третья смена, я подошел к дверям и разговорился с часовым.

— Что же заставило вас пойти на «Потемкин»? — спросил он меня после того, как я рассказал ему о причине моего ареста. Тогда я, насколько мог сделать это сжато и сильно, рассказал ему о тех ненормальностях современного общества, которые сделали меня социалистом и заставили участвовать в революционной борьбе.

Штрык (так назывался часовой) слушал меня с напряженным вниманием. Когда я кончил, он как-то невольно стал рассказывать о своей солдатской жизни, тяжелой, полной унижений и горя.

— И для чего все это делают с нами, не знаю. Вот мне через три месяца уже срок кончается, а нас на войну, говорят, скоро гнать будут. Пойду и я; убьют меня, а зачем? для кого?

— Почему вы не бросаете службу?

— Эх, давно бы ушел, да денег нет; ремесла тоже никакого не знаю. Что буду делать я?

— Ну, в таком случае, — сказал я, поняв, что наступил удобный момент действовать решительно и прямо, — я помогу тебе в этом отношении, но ты уже возьми и меня с собой! Согласен?

В первую минуту он опешил.

— Да что вы, разве отсюда можно уйти? Ведь это могила!

— Ну, уж это другой вопрос, — сказал я ему. — В этом отношении задача облегчается тем, что у нас тут есть верный друг и помощник. Если ты согласен помочь мне в этом деле, то он подойдет к тебе через час и расскажет весь план; и если найдешь его осуществимым, то действуй с нами.

Часовой согласился.

Сразу навалилось много дела...

Надо было написать записку Бурцеву и об'яснить ему, как говорить с солдатом; надо было обдумать все до малейшей детали и известить «вольных». В числе разных указаний, я писал последним о том, чтобы Бурцев не забыл приготовить для меня машинку для бритья, достаточных размеров сапоги и кушак.

Последний был особенно важен, так как у всех арестованных отнимались кушаки, и отсутствие его могло бы вызвать подозрение у встречных солдат. Едва успел я окончить это письмо, как в мою камеру вошли два солдата и дежурный унтер-офицер.

— На прогулку! — услышал я.

Но в мои виды не входило проходить лишний раз через караульное помещение, где меня видели бы все солдаты и, сказавшись больным, я отказался от прогулки.

— Пришлите только кипяток, — сказал я унтеру, очень обрадовавшемуся моему отказу.

Через несколько минут Бурцев находился уже в моей камере с чайником в руках. Как раз в эту минуту в коридоре раздался

чей-то крик, унтер-офицер отвернулся и, воспользовавшись этой минутой, я передал Бурцеву записки.

Было шесть часов вечера, когда он известил меня об окончательном согласии Штрыка действовать с нами.

Я снова продумал весь план бегства; все было уже готово и предусмотрено; даже широкое одеяло для устройства чучела было приготовлено заранее. Занятий больше никаких не было, а до той смены, в которой я должен был бежать, оставалось еще девять часов.

«Однако как долго придется мне еще сидеть тут!»—подумал я.

Подумал и вспомнил, с каким трепетом и захватывающим восторгом думал я вчера только о долголетней каторге. Вчера не было ничего впереди, а сегодня целая жизнь. И как подумать, что меня от жизни отделяет всего одна дверь и эта решетка. Маленькая решетка! От нее зависит жизнь. Вчера, сегодня, сейчас еще, она стоит передо мной и мучает меня; а завтра я бду по ту сторону ее, с усмешкой буду думать о ней, презирать ее...

Пробило семь часов вечера.

«Третья смена!»—раздался где-то крик.

Штрык снова появился в коридоре.

— Что нового?—спросил я его.

— А вот записка,—и он передал мне записку от друзей.

«Все будет приготовлено,—писали друзья,—вы выйдете сначала с Бурцевым. Штрык передаст свой пост другому часовому и выйдет позже вас. Под горой вас будут ожидать товарищи. Бурцев подведет вас к нам; пароль „Анюта". Будьте тверды и спокойны».

— Ну, вот видите, как товарищи заботятся о нас; с такими помощниками можно не сомневаться в успехе!—сказал я Штрыку.

— Я не боюсь, — ответил часовой, — только одно меня беспокоит: что, если товарищи не будут ждать меня? Куда я пойду? Я не знаю в городе ни одного человека!

Повинуясь его просьбам, я дал ему имевшийся у меня в кармане адрес конспиративной квартиры наших друзей. И как впоследствии я благословлял ту минуту, в которую я сделал это.

В девять часов вечера кончилось дежурство Штрыка. На пост вступил тот самый часовой, который должен был заменить его после побега. Его надо было приучить к виду чучела, и потому я лег на койку, накрывшись одеялом через голову, притворился спящим.

«А вдруг я засну!»—мелькнуло у меня опасение. Но тотчас же я сам рассмеялся этой мысли.

Тихо, томительно тихо на гауптвахте. Кругом все замерло. Только за окном раздаются мерные шаги часовых да по временам доносится протяжное и гулкое «слушай», — то унтер проверяет караул. Медленно ползет время, такое же томительное, как

и сама тишина, и кажется, что оно остановилось, и желанный момент никогда не настанет.

Но вот раздается условный стук в дверь; я вскакиваю: у дверей стоит уже Штрык.

Снова исчезло томление, и прежнее спокойствие и деловитость охватили меня.

— Приготовьте чучело,—говорит он мне.

Из находившихся у меня в камере белья, книг, посуды я приготовил чучело человека и покрыл его одеялом через голову.

В продолжение всей предыдущей недели практиковался я в изготовлении чучела, и потому оно вышло у меня так удачно, что я сам иногда, забывая о нем, пугался при взгляде на койку.

— Ну, теперь я открою дверь и передам вам машинку для бритья,—сказал Штрык. Но ключ не подходил к замку.

В нашем распоряжении оставалось полтора часа. Не было никакой возможности сделать за это время новый ключ для замка.

— Ну, что? как дела?—раздался из окна, ведущего во двор гауптвахты, голос Бурцева.

— Ключ не подходит,—сказал Штрык, подходя к нему.

Бурцев взял ключ и побежал к товарищам, принимавшим участие в организации побега и дежурившим недалеко от гауптвахты.

К счастью, между ними оказался рабочий-слесарь; он тут же подпилил ключ, и, когда Бурцев снова принес его, Штрык открыл дверь.

— Ну, сейчас надо выходить, — сказал он, когда я окончил бритье; но в эту минуту снова выросло неожиданное препятствие. Как раз в этот день на гауптвахте дежурил «плохой» унтер-офицер. В таких случаях заключенные солдаты мстили ему единственным имеющимся в их распоряжении способом: не давали возможности унтеру спать, целую ночь просясь из камер.

И вот в два часа ночи раздался стук в дверь; за ним другой, третий...

Теперь я снова не мог выйти, так как уборная находилась во внешнем коридоре, а там сейчас находился унтер. Время шло, а стук не прекращался.

— Половина третьего,—шепнул мне Штрык, проходя мимо камеры.

Еще полчаса, и дело потеряно, а стук все продолжался.

«Остается двадцать минут... что еще нужно делать?»— спросил я себя.

Вспомнил: нужно держать себя в руках... Вспомнил вечную нашу памятку: «здоровый ум в здоровом теле», а ведь я еще с вечера ничего не ел.

И я полез в корзину, извлек остатки провизии и расположился ужинать.

— Осталось пятнадцать минут, — снова раздался шопот Штрыка.

— Ну, идите,—сказал Штрык, снова отворяя дверь моей камеры. Я сделал уже несколько шагов к двери, но вдруг я вспомнил про Чухнина, по милости которого меня перевели сюда, и меня охватило желанье посмеяться над ним. Вспомнив, что для меня в штабе крепости осталось 10 рублей, из которых я израсходовал 60 копеек, я схватил карандаш и написал записку следующего содержания:

«Оставшиеся в штабе крепости девять рублей сорок копеек прошу передать на-чай главному командиру Чухнину за то, что он позаботился перевести на гауптвахту и тем помог бежать». Положив эту записку на стол, я почувствовал себя удовлетворенным и побежал в цейхгауз. Едва я вбежал в него, пробило три часа, и произошла смена.

Я стал надевать на себя солдатское платье. И тут увидел, что мои напоминания товарищам о кушаке и сапогах оказались напрасными: кушака не было, а приготовленные сапоги не влезали на ноги. Это обстоятельство вывело меня из терпенья, и я с бешенством набросился на Бурцева, когда тот вошел в цейхгауз.

— Ну, об этом не беспокойся,—ответил он с чисто хохлацким спокойствием.—Вместо кушака получай шинель, а сапоги сейчас достану.

С этими словами Бурцев вышел из цейхгауза. Я с любопытством стал следить за ним через коридорную дверь, недоумевая, где может он достать в такое время сапоги. И вот вижу я, как мой Бурцев входит в караульное помещение и оглядывает ноги спящих солдат.

«А, есть!»—мелькнуло у него на лице. И, подошедши к какому-то солдату, он стал стаскивать с него сапоги.

— Га! чаво?—пробурчал последний сквозь свой богатырский сон.

Но он невозмутимо продолжал свое дело, и через несколько минут сапоги были уже на моих ногах.

— Ну, теперь идем,—сказал мне Бурцев.—Внимание часового я отвлек: сказал ему, что ко мне должна девчонка с левой стороны прийти на свиданье. Дал ему полтину на-чай, он и уставился туда.

Мы вместе пошли в офицерскую. Тут я остановился на минуту, а Бурцев прошел вперед. Когда я вышел на улицу, он уже стоял на площадке.

— Вот бери лестницу и иди туши, сперва во дворе, а потом тут,—громко сказал он мне, указывая на лестницу, стоявшую у фонаря. Ленивой походкой я направился к углу гауптвахты.

— Да скорей! Пошевеливайся!—крикнул Бурцев, сопровождая слова крепким ругательством. Я немного ускорил шаги, и через минуту скрылся с глаз часового.

Тут только я почувствовал себя на свободе...

V. НА ВОЛЕ.

Какой-то вольный и живительный ветерок охватил меня, и все внутри отозвалось на его ласку.

В ту же минуту я услышал за собой шаги: это бежал Бурцев. Действовавший до сих пор удивительно спокойно, он вдруг потерял самообладание.

— Бежим, Костенька, бежим!—сказал он мне и, схватив меня за руку, стал увлекать меня под гору.

Напрасно я успокаивал его, убеждал итти спокойно, указывая на опасность слишком поспешного бегства: Бурцев тащил меня все дальше и дальше и остановился только тогда, когда мы пробежали давно то место, где нас ожидали товарищи. Когда мы вернулись обратно, товарищей уже не было.

— Ну, что теперь будем делать? — вскричал Бурцев, хватая себя за голову.

— Ты знаешь какой-нибудь адрес?—спросил я его.

— Нет!

— А квартира, в которой ты встречался с товарищами, где находится?

— Туда нельзя итти в солдатском,—там много полиции.

И действительно, я был без кушака, и каждый городовой мог арестовать меня за непорядок формы.

— Знаешь ты кого-нибудь, где бы можно было переодеться?

Но Бурцев растерялся и в продолжение целого часа тащил меня по каким-то темным, грязным улицам. Наконец, он очнулся.

— Ну, ладно, есть у меня хорошие люди на примете,—вымолвил он, наконец,—пойдем к ним. — И стал он водить меня по «хорошим людям».

Сначала он завел меня к одному «куму»—дворнику; тот понял, что дело неладно, и хотел нас арестовать. Надо было действовать: я бросился на него, ударил его с размаху, Бурцев навалился на него со своей стороны, и кум упал без чувств на землю. Тогда мы выскочили, замкнули снаружи дверь его комнаты и удрали. Вторым «хорошим человеком», к которому привел меня Бурцев, оказался один из сторожевых солдат. Этот просто выгнал нас, но зато у него я достал кушак. Между тем уже совсем рассвело, и приближалась минута, в которую должен был обнаружиться мой побег.

— Ну, теперь идем на квартиру,—сказал я и решительно направился к извозчику. Он продолжал было упираться и предлагал зайти еще в харчевню, обдумать положение, но моя решимость подействовала на него. Мы наняли извозчика и поехали к конспиративной квартире: это была квартира известного на

юге социал-демократа Канторовича [1]; находилась она почти у самого Нахимовского проспекта. За несколько кварталов до нашей квартиры мы остановили извозчика.

— Плати!—сказал я Бурцеву. У него, как на беду, оказалось только две пятирублевые монеты; одну из них я и дал извозчику.

— Сдачи нет!

— А у меня других нет!

— Ну, меняй!

Лавки все были закрыты, пробовали менять у прохожих, но все напрасно. Наша группа уже стала обращать на себя внимание. Между тем уж был шестой час, каждая минута промедления была опасна. Что делать? Дать извозчику пять рублей значило сразу возбудить его подозрение. Я пустился на хитрость: классическим жестом я почесал свой затылок и, обратившись к извозчику, сказал:

— Да дай же, братец, сдачу! Мы и так загуляли; офицер, поди, встал уже! Знаешь, наше дело солдатское!

— Да нет у меня, толком говорю тебе!

— Ну, нам стоять нельзя. Бери пять рублей да скажи, где стоишь; приду к тебе за сдачей. Отдашь ведь? — умолял я его.

Извозчик и тут запротестовал.

— Не хочу твоих денег, потом скажешь, что десять аль двадцать рублей дал мне.

Долго мне еще пришлось убеждать его, прежде чем он согласился отпустить нас.

Ворота того дома, где жил товарищ Канторович, были уже открыты и дворник заметал улицу. Выждав минуту, когда он отвернулся, мы незаметно проскользнули во двор. Но вход на лестницу, где находилась квартира товарищей, был закрыт. Тут уж мы не вытерпели и с такой силой навалились на дверь, что она подалась. Через минуту мы были окружены своими. Началось переодеванье, но вдруг на лестнице промелькнула солдатская форма, и раздался звонок.

«Обыск!»—пронеслось в головах товарищей, но робкий, почти умоляющий голос, раздавшийся в передней, заставил нас вспомнить о забытом часовом Штрыке.

В три часа ночи он подвел сменявшего его солдата к дверям моей камеры и, указав на чучело, сменился с ним. До рассвета он находился на гауптвахте и затем незаметно вышел и направился к городу. Между тем, товарищи, прождав меня лишний час, решили, что побег не удался, и отправились домой. Не

---

[1] Тов. Канторович—тогда член Севастопольского комитета РСДРП. В 1906 г., т. Канторович за участие в военно-флотской организации гор. Севастополя был осужден царским судом на каторгу. Каторгу т. Канторович отбывал в Шлиссельбурге, где, между прочим, подвергся нашумевшему тогда избиению. Освобожденный революцией 1917 года, т. Канторович принимал видное участие в Октябрьской революции в качестве члена Совета Рабочих Депутатов. Умер в 1920 году.

найдя их на условленном месте, Штрык ужаснулся: ему показалось, что он сделался жертвой обмана. Полный тревог и опасений, он отправился по данному мной адресу. Лицо и голос его были полны ужаса, когда он рассказывал, что переживал он до прихода сюда.

В Севастополе мы пробыли несколько дней.

На моих глазах совершались поиски, раз'езжали патрули; товарищи говорили, что весь порт и вокзал оцеплены войсками и производится строжайший осмотр всех путешественников. Весь город был взволнован побегом, а Чухнин пришел в ярость.

Скрываясь на квартире редактора местной газеты гр. Спиро, мне пришлось слышать из уст севастопольского полицмейстера рассказ о том, как Чухнин звал его к себе, топал на него ногами и приказывал в тот же день разыскать всех троих. «А не найдете,—всех под суд отдам!»—кричал адмирал, задыхаясь от злобы.

— А где их найдешь? Они, чай, давно уж в Румынии,—сокрушительно говорил полицмейстер, не подозревая, что я так близко от него нахожусь.

Такие сцены, когда мне самому рассказывали о ловком побеге Фельдмана, происходили, впрочем, очень часто. Особенно запомнилась мне одна из них, происходившая в одном русском городе через три недели после моего побега.

Выезд мой из Севастополя был прекрасно обставлен: в богатом ландо, запряженном четверкой коней, сидела веселая компания, состоявшая из роскошно одетой девицы, тов. Иоффе (тогда активный работник Крымского комитета РСДРП, а ныне член Коллегии НКИД), Бурцева и меня. Мы пели, шутили, смеялись, и никто не мог заподозреть, что в этой компании есть люди, которым грозит казнь.

Едва от'ехали мы, как я почти невольно вскрикнул:

— Караульный начальник!

Прямо против меня, верхом на лошади, проезжал офицер, дежуривший за неделю до моего побега на гауптвахте; еще там он обнаружил свои хулиганские инстинкты, натравливая на меня часовых. Теперь, очевидно, он выехал на дорогу искать меня. Дружный взрыв хохота товарищей заглушил мой крик, и офицер, не узнав меня, проехал мимо нас.

Этот случай заставил нас поменяться местами: я сел спиной к дороге, а тов. Иоффе сел на мое место.

Предосторожность не была излишней, так как через несколько минут мы встретили одного из унтер-офицеров, стерегших нас на гауптвахте, а через час Бурцев увидел невдалеке от нас своего начальника, капитана штаба Севастопольской крепости. Все эти господа, очевидно, искавшие нас, никак не могли предположить, что в такой обстановке, среди бела дня, ехали государственные преступники, которым грозит смертная казнь. Они, вероятно, представляли себе меня унылым и мрачным, украдкой пробирающимся по дороге.

Отец тов. Иоффе был в то время каким-то важным путейским чиновником в Крыму; ему, если не ошибаюсь, было подчинено Управление крымских шоссейных дорог. «Слава» отца распространялась на сына; его знали, как сына своего отца, не подозревая в нем видного русского революционера. Я помню, например, что при нашем прибытии на станцию, когда тов. Иоффе бросал вместо подорожной свою фамилию, все приходило в волнение, вытягивалось в струнку, и нам, не в пример прочим путешественникам, тотчас же давали свежих лошадей. Таким образом тов. Иоффе служил мне надежным прикрытием.

Помню, как во время одной стоянки, кажется, в Ливадии, к нашей карете стал приближаться урядник; она, очевидно, вызвала в нем подозрение, и он решил заглянуть к нам. Я шепнул об этом Иоффе, и тот немедленно вышел из кареты навстречу уряднику. При виде его, последний выпрямился, отдал честь и, как бы боясь, что Иоффе догадается о его скверном намерении заглянуть в карету, удалился быстрыми и мелкими шажками.

Так мы доехали до Симферополя. Здесь я расстался с Бурцевым. Его через два дня наши товарищи переправили в Одессу, где он встретился со Штрыком; последнего отправили в Одессу пароходом. Из Одессы Бурцева и солдата Штрыка отправили к границе, и через неделю они уже перешли ее.

Через месяц после побега, в сопровождении опытного в «контрабандных» делах товарища, я ехал к границе. На вокзале маленького пограничного города нас встретил контрабандист, которому мой товарищ заранее дал телеграмму. Вместе с ним мы сели в приготовленный экипаж и отправились в маленькое местечко, лежащее верстах в тридцати от границы. Здесь в маленьком и грязном домишке контрабандиста должны были мы ждать наступления вечера.

Как только мы вошли в парадную комнату, нас окружила целая толпа молодых и здоровых парней—детей контрабандиста. Воспитанные на опасном промысле своего отца, они были так же ловки и пронырливы, как само их ремесло. «Что слышно, как дела?»—набросились они на моего спутника, их старого знакомого. Пока он удовлетворял их любопытство, в комнату вошел сам контрабандист. Орлиный нос, проницательный взгляд и мягкие кошачьи движения делали его похожим на хищника. Сорок лет подпольного ремесла наложили резкий отпечаток на этого человека...

— Когда мы выедем?—обратился к нему товарищ.

— В девять часов вечера. Политический? — в свою очередь, спросил старик, окидывая меня испытующим взглядом.

Не желая возбуждать подозрения старика и стараясь обставить сегодняшний переезд лучше обычного, товарищ выдал меня за своего компаньона, едущего в Австрию за большим транспортом товара.

— Мы направим этот товар через вас же,—сказал он,—но дело это спешное и через неделю должно быть окончено. Поэтому вы устройте сегодняшний переезд так, чтобы не было никаких задержек.

— Тогда я сам поеду с вами,—сказал старик.

В десять часов вечера нас повели через потайную дверь в конюшню. Здесь уже стояли лошади, запряженные в телегу; мы влезли на нее.

— Готово?—спросил возница.

— С богом, — ответил старик, — поезжай!.. У пруда я тебя нагоню.

Ворота распахнулись, и мы выехали.

— Почему уже здесь принимают такие предосторожности?— спросил я у товарища.

Он об'яснил мне. Оказалось, что у этих контрабандистов дело поставлено так, что самый переход через границу не представлял никакой опасности,—переводят сами же караульные солдаты. Опасна, однако, при переходе в Австрию или обратно, дорога до границы, так как за двадцать верст до нее производятся об'езды. Об'ездчиков, по причине их частой смены, подкупить невозможно, и они арестовывают всякого встречного в пограничной полосе.

В условленном месте нас догнал на маленькой, одноконной тележке старик с одним из своих сыновей.

С какой-то особенной осторожностью доехали мы до границы—небольшой деревушки.

— Стойте,—сказал нам старик, а сам поехал вперед. Видно было, как он остановился, слез с тележки и куда-то пошел. Через десять минут он вернулся и сказал, что жандармов в условленном месте нет.

— Постойте тут, я еще поищу, — сказал он нам и с проворством кошки исчез в темноте.

Прошло полчаса. Мы стояли в самом опасном месте и ежеминутно могли быть захвачены об'ездом. Естественно, что в ночной темноте кругом рисовались призраки, и товарищ вдруг сказал мне:

— К нам едут солдаты! Слезайте, спрячемся в овраге.

Мы осторожно сошли с телеги и ползком спустились в какую-то яму. Там пролежали мы целый час; солдаты были порождением фантазии.

Наконец, к нам спустился старик.

— Надо ехать обратно: надул нас жандарм, не пришел,— сказал он.

Пришлось снова проезжать все опасные места. Поздно ночью мы возвратились в дом контрабандиста.

С утра следующего дня старик послал уже своего сына предупредить жандарма о ночном переезде.

Как раз в этот день вся полиция местечка, в котором мы находились, была поставлена на ноги: накануне арестовали шесть

человек, приехавших из Австрии. Трое из пойманных утром же удрали из полицейского участка. По всем дорогам были расставлены полицейские посты, и только благодаря ловкости и опытности старика нам удалось миновать их.

В двенадцать часов ночи мы под'ехали к границе; жандарм уже ждал нас, но об'явил, что переход будет возможен только в три часа ночи.

Покамест нам разложили в поле брезент, лежа на котором, мы должны были ждать момента переправы. Лил дождь, и отчаянная сырость и холод охватывали нас. Прижавшись друг к другу, мы с товарищем старались согреться теплотой своих тел.

Ровно в три часа к нам подошли солдат и жандарм. Последний взвалил на плечи наш багаж, и мы тронулись. Вскоре перед нами была дорога. Солдат остановился, передал жандарму свою винтовку, сказал: «Это—граница! Старайтесь не делать следов!», и двинулся вперед. Через минуту мы были в пределах Австрийской империи.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В Вене, куда я попал сейчас же после перехода границы, я узнал от Раковского, что Дымченко с группой других потемкинцев живет в Цюрихе.

А еще через неделю я спешил уже к нему по улицам Цюриха.

«Точно спардек»,—думал я, поднимаясь по узкой винтовой лестнице населенного дома рабочего квартала.

Он ждал меня наверху у входа в комнату; то же загорелое, открытое, честное лицо, те же лучистые глаза.

В маленькой комнате перехожу из об'ятий в об'ятия; тут лучшие боевые товарищи: Денисенко—чудо-мастер и чудо-богатырь — исполинский детина и тончайший искуснейший слесарь-механик, пылкий и отважный Кулик, умный красавец Резниченко...

Они не долго пробыли в Румынии. Тесно и душно было в этой стране ребятам, почуявшим уже знойное дыхание революции.

Тянуло на Запад, в большие промышленные страны, хотелось приобщиться к борьбе промышленного пролетариата.

Прежде всего решили проехать в Швейцарию — этот центр российской революционной эмиграции, чтобы разобраться там в сложных политических вопросах и набраться «ума-разума», как просто выразился Денисенко.

Денег не было, но был Денисенко, и его послали ходоком.

Ребята били без промаха.

Денисенко приехал в Цюрих, пошатался по улицам, отыскал какой-то завод, проник в него, и тут произошло нечто, о чем долго разговаривали потом в Цюрихе: никого ни о чем не спра-

шивая, наш богатырь вошел в мастерскую, отбросил от станков трех мастеровых и стал один работать за них. Сначала его хотели избить, потом, удивленные его искусством, стали шумно приветствовать.

Конечно, его немедленно зачислили в штат фабрики и выдали аванс на проезд в Цюрих из Букареста еще трех товарищей...

«Ладно, поживем пока тут вчетвером, а там дальше айда в Америку и туда же перетянем всех наших из Румынии».

Рассказали о сдаче корабля...

В Феодосии, по возвращении катера после обстрела, все были убеждены, что оставшиеся на берегу погибли. В частности обо мне команда катера рассказывала, что я утонул на ее глазах.

Да и не до нас было. Среди команды начался раскол, и корабль снялся в Румынию. По дороге, ночью, состоялось тайное собрание революционной части команды: решили корабля не оставлять. А так как большинство команды настаивало на сдаче и открыто бороться против этого уже было невозможно, — решили сделать так: сторонники дальнейшей борьбы — их было около двухсот — должны были задержаться, под разными предлогами, на корабле, покуда вся остальная команда будет высаживаться на берег. Затем, неожиданно для своих и для румын, поднять якорь и снова отплыть к русским берегам.

Но на собрании оказался предатель; утром, когда подплывали к Румынии, все глядели друг на друга сумрачно. И были ли предупреждены кем-либо румыны, или сами догадались, но только эвакуация уничтожала всякую возможность осуществления этого намерения: спускали матросов с корабля по их «частям», начали с комендоров (пушкарей), перешли к машинистам и не приступали к эвакуации одной «части», покуда не спускали на берег всех матросов другой...

Денисенко все же умудрился сойти последним; он долго возился в машинном отделении, и никто так и не узнал от него, что он там делал: спасал ли от румын дорогие приборы и условный морской шифр или приводил в негодность, как об этом писали потом в газетах, машинные котлы.

Думаю, что он был занят первым...

По крайней мере, опубликованная сейчас дипломатическая переписка между царскими военными и дипломатическими представителями в Румынии и петербургским правительством, несмотря на ненависть к потемкинцам, которой проникнута каждая строка этой переписки, неоднократно отмечает высокую дисциплинированность матросов и сознательное, бережное отношение их к корабельному имуществу.

«Если на броненосце пропало много судового имущества,— доносит наш атташе в Румынии, Лермонтов, министру иностранных дел графу Ламсдорфу, — то, на основании имеющихся у меня

сведений, я могу прямо сказать, что некоторая его часть разграблена румынами» [1].

В другом донесении Лермонтов говорит уже более определенно, что все ценные приборы, исчезнувшие с броненосца, были увезены румынами «скорей всего после визита на броненосец румынского премьера Кантакузена». Кантакузен находился в Констанце во время сдачи «Потемкина» (он здесь случайно председательствовал на каком-то банкете) и после эвакуации экипажа, ночью, прямо с банкета, в сопровождении полупьяных гостей, среди которых было много дам, отправился осматривать сдавшийся броненосец; «а за этими лицами потянулись к броненосцу все, кто только ни пожелал».

«Секретный агент департамента полиции, проживающий в Румынии, — продолжает свое донесение Лермонтов, — донес мне, что множество предметов с судна продавалось в Констанце за бесценок, а когда он спросил у нескольких матросов, зачем они разграбили судно, они отвечали ему: „Мы, ваше благородие, ничего не взяли с собой, все оставили на броненосце".

«Со слов очевидца мне известно, что некоторые из матросов, покидая свой корабль, плакали».

Как известно, судовая казна в размере 24 000 руб. была распределена поровну между всеми матросами, чтобы дать им возможность просуществовать несколько недель до приискания работы. На каждого матроса пришлось что-то около 80 франков (32 рубля на наши деньги). Раздачу денег производил Матюшенко... И вот случилось так, что некоторые матросы, приглашенные в гости к румынским рабочим, не успели получить во время раздачи своей доли. На руках у Матюшенко, торопившегося выехать из Румынии, осталось несколько тысяч франков, которые он имел наивность «сдать на хранение» префекту города Констанцы. Этот акт «честности» настолько удивил нашего посланника при румынском дворе, гофмейстера Гирса, что кажется ему совершенно неправдоподобным.

«Румынский министр иностранных дел, — доносит он, — доставил во вверенную мне миссию, представляемые мною в отдельном пакете 2 431 франк 80 сантимов деньгами и 800 руб. нашей четырехпроцентной государственной ренты.

«В препроводительном письме генерал Лаговари сообщает, что эта сумма была б у д т о б ы передана констанцскому префекту матросом Матюшенко, заявившим, что она осталась у него после раздачи денег, находившихся на броненосце „Князь Потемкин", так как не все матросы присутствовали при этой раздаче» [2].

Нас, конечно, нисколько не удивляет, что Матюшенко не присвоил себе общественных денег, но зато каким наивным кажется доверие Матюшенко к румынскому префекту! Последний, как

---

[1] Секретное донесение коллежского советника Лермонтова. «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 207.

[2] «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 228.

это видно из вышеприведенного рапорта Гирса, вместо того, чтобы хранить полученные деньги до возвращения матросов, для которых они предназначались, поспешил переслать деньги русскому правительству, и последовавшая вскоре после того просьба 55 потемкинцев возвратить эти деньги для раздачи вернувшимся матросам [1] осталось, конечно, без удовлетворения.

Отмечая в своих донесениях царскому правительству высокую дисциплинированность и сознательное отношение к государственным и общественным интересам, проявленные высадившимися в Румынии потемкинцами, представители царского правительства, со свойственным им лицемерием, в своих отношениях к иностранным правительствам рисуют потемкинцев, как «уголовных злодеев», настойчиво требуя их выдачи.

«Узнав о прибытии к Констанцу „Потемкина" и миноносца, — телеграфируют министру иностранных дел Румынии, генералу Лаговари, тот же Лермонтов, — по распоряжению моего правительства имею честь просить королевское правительство не разрешать экипажу обоих этих судов высадки на румынской территории, а также не снабжать их ни углем ни провизией.

«Одновременно имею честь также сообщить вам по распоряжению моего правительства, что экипаж обоих этих судов запятнал себя совершением убийства и грабежей» [2].

В телеграмме от 25 июня на имя того же Лаговари, Лермонтов снова просит обратить внимание на то обстоятельство, что «экипаж обоих судов обвиняется в совершении убийств и грабежей», и требует на этом основании выдачи потемкинцев царской полиции.

Румынское правительство отказывается, однако, выполнить немедленно требование царского правительства, так как, по заявлению Лаговари, «королевское правительство связано в этом деле словом, неисполнение коего может повлиять на отношение королевства к другим европейским державам...».

«Лаговари очень сожалеет, — доносит Лермонтов, — что он не был предупрежден о столь быстром приходе отряда адмирала Писаревского [3]; знай он об этом раньше, он затянул бы переговоры с командой „Потемкина" до прихода отряда Писаревского, и тогда, может-быть, удалось бы принудить команду к сдаче на иных условиях» [4].

---

[1] Там же, стр. 228.

[2] «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 207.

[3] Дивизия Черноморского флота, состоявшая из двух крейсеров и четырех миноносцев и прибывшая в Констанцу после сдачи «Потемкина».

[4] Румынский генерал, однако, ошибался в своих расчетах (если только его уверения были вообще искренни) на помощь отряда Писаревского. В Феодосии в военной тюрьме, в ночь моего ареста, меня посетил начальник одного из миноносцев, преследовавшего «Потемкина». Из беседы с ним мне стало совершенно очевидным, что отряд адмирала Писаревского решительно избегал встречи с «Потемкиным». Да иначе и быть не могло: помимо неуверенности в экипаже отряда, «Потемкин», как боевая единица, превосходил своей силой отряд Писаревского.

Сожалея о том, что обстоятельства помешали предать ему команду «Потемкина», румынское правительство не теряет, однако, надежды сделать это в ближайшем будущем.

«Высказав это, Лаговари просил передать вашему сиятельству, что румынское правительство сделает иным путем все возможное для удовлетворения наших требований. Большинство команды, по его мнению, совершенно неповинное, направлено в провинции, граничащие с Россией, чтобы дать им возможность во всякое время перейти границу. Тамошним властям дано предписание способствовать этому всеми мерами. Матюшенко находится в Бухаресте под строжайшим негласным надзором полиции и при малейшем с его стороны проступке будет выслан в Болгарию или даже прямо в Россию, о чем миссия будет немедленно извещена» [1].

Что означало на дипломатическом языке это заявление о «предоставлении потемкинцам возможности переходить через границу», — понятно всякому; в разное время таким способом было выловлено 74 потемкинца, которые немедленно препровождались в Севастополь, предавались там военно-морскому суду и осуждались на многие годы каторжных работ.

В связи с обещанием румынского правительства выслать Матюшенко в Болгарию царским правительством были приняты меры к задержанию его на территории этой страны.

20 июня 1905 года царский посланник в Софии, Бахметьев, телеграфирует в Петербург:

«Болгарское правительство охотно задержит и выдаст преступников с броненосца „Князь Потемкин", ежели они появятся на болгарской территории, но для этого необходимо знать их имена и приметы» [2].

Однако сочувствие к потемкинцам было настолько сильно среди рабочих европейских стран, что даже болгарское правительство Фердинанда, этого коронованного лакея Габсбургов и Романовых, считало необходимым очень осторожно приступить к этой операции. Извещая в другом донесении графа Ламсдорфа о том, что списки вожаков взбунтовавшейся команды разосланы уже из Софии местным болгарским властям и русским консулам для поимки матросов в случае появления их в Болгарии, Бахметьев прибавляет:

«Я не сомневаюсь, что болгарское правительство сделает все возможное, чтобы помочь нам наказать этих злодеев, но вместе с тем было бы, мне кажется, желательным, во избежание разных излишних толкований как в западной, так и в здешней печати, не давать огласки этому делу и устроить его домашним образом» [3].

---

[1] «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 223.
[2] «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 226.
[3] Там же.

Предупрежденный т. Раковским, который в качестве представителя румынской социалистической партии зорко следил за действиями румынской полиции, Матюшенко своим быстрым от'ездом в Швейцарию на этот раз благополучно выскочил из искусно закинутой над его головой петлей.

Уже 3 июля Лермонтов, изменяя своему обычному стилю пространных донесений, меланхолично телеграфирует в Петербург:

«Полицейский префект только-что известил меня, что Матюшенко выехал в Швейцарию; при этом заявил, что в виду того, что последний во время пребывания своего в Румынии не совершил никакого проступка, выслать его не представлялось возможным».

Само собой разумеется, что царское правительство никогда не оставляло мысли о захвате потемкинцев; специальные агенты охранки следили за каждым их движением, и царское правительство широко пользовалось каждым удобным случаем, чтобы снова возбудить перед румынским правительством вопрос о выдаче потемкинцев.

В 1907 году в некоторых провинциях Румынии вспыхнули крестьянские волнения, и, конечно, румынское правительство поспешило заявить, что подстрекателями этого движения были потемкинцы.

Это заявление прозвучало грозным предупреждением о готовящейся выдаче потемкинцев царскому правительству и вызвало сильнейшую тревогу среди европейских социалистических партий; немедленно началась кампания протеста; в крупных промышленных центрах стали организовываться митинги и демонстрации в защиту потемкинцев. Это движение европейского пролетариата заставило румынское правительство отказаться от своих намерений; бдительность европейского пролетариата еще раз расстроила планы царского правительства. 4 мая 1907 года царский посланник в Бухаресте доносит в Петербург министру иностранных дел:

«Хотя участие потемкинцев в последнем крестьянском восстании в Румынии далеко не доказано, тем не менее долгое пребывание в пределах королевства столь многочисленного и маловерного элемента тревожит чынешнее либеральное правительство».

Дальше сообщается о мерах, принимаемых румынским правительством для отправки в Америку потемкинцев; при этом посланник делает осторожную оговорку:

«Донося о вышеизложенном, почитаю долгом присовокупить, что хотя румынское правительство и стремится ныне избавиться от потемкинцев, при всем том оно, по моему впечатлению, окончательного решения об их высылке еще не приняло» [1].

К этому времени уже окончательно оформились судьбы потемкинской эмиграции. Часть потемкинцев попала в сети, искусно

[1] «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 230—231.

расставленные царским правительством; рабочая часть команды перебралась с помощью Денисенко в Америку и перешла в ряды американского промышленного пролетариата; крестьяне пустили глубокие корни в Румынии, обзавелись семьями и «сели на землю».

Были и «мятущиеся» души, что пошли бродяжничать по всему свету. Кулик, Дымченко и Резниченко составили одну такую группу. Они побывали во всех европейских государствах, затем перебрались в Канаду, жили у духоборов; не ужились среди них, плавали матросами на торговых судах, потом прислали весточку из Австралии. Неизвестно, почему судьба забросила их вскоре в глубь Южной Америки, кажется Уругвая. Здесь в один из переходов бродячей тройки трагически погиб Дымченко; странники подверглись нападению тучи экваториальных комаров; Кулик и Резниченко бросились в реку и в ней нашли спасение; Дымченко бросился собирать хворост, чтобы развести костер; но было уже поздно: он погиб от заражения крови.

С Матюшенко я встретился в последний раз в Париже весной 1907 года. Матюшенко тогда только-что вернулся из Америки и, отрешившись от «эс-эрства», примкнул к какой-то группе анархистов. И, как обычно, он принес в анархию всю страстность и решительность своей натуры. Ко мне Матюшенко на этот раз не заходил, так как считал меня уже своим политическим врагом. И все же нам пришлось свидеться при совершенно исключительных обстоятельствах. Однажды ночью ко мне прибежал партийный товарищ, слесарь-металлист Митя Файнгольд.

— Вставайте, — завтра утром Матюшенко устраивает вооруженное выступление в Париже...

— Что за глупости!

— Да, да, я узнал об этом от нескольких русских анархистов, работающих со мной на заводе Рено... Я даже знаю, что некоторые партийные товарищи пытались уже воздействовать на него, но тщетно: все надежды теперь на вас...

— Вы знаете его адрес?

— Я приехал за вами на мотоцикле...

На старой трескучей мотоциклетке Файнгольда мы понеслись в Обервилье, предместье Парижа, где жил Матюшенко.

Политическая бессмысленность этого выступления бросалась в глаза. Париж в это время был единственным центром революционной эмиграции; Германия давно уже без шума (по румынскому образцу) высылала «опасных эмигрантов» на русскую границу; Швейцария только-что начала выдавать русских революционеров царскому правительству, обставляя эту выдачу шумом судебного процесса; Лондон был слишком далек для заграничных революционных организаций от русской границы. Само собой разумеется, что царское правительство не могло мириться с таким положением... Оно делало многочисленные представления французскому привительству, оно организовало провокационную работу сыщика Рачковского в Париже, оно тратило осторожно подготовляя кампанию против революционной эми-

грации. Недоставало только повода—взрыва бомбы или политического убийства на французской территории, или чего-нибудь другого в этом роде, что могло бы ударить по нервам французского буржуа. Провокационная попытка сыщика Гартмана, инсценировавшего бомбометание на улицах Парижа, была разоблачена и потерпела крушение; впредь надо было быть осторожным. И вдруг такой подарочек — известный русский революционер Матюшенко, герой «Потемкина», имеющий европейскую известность красный адмирал—и вооруженное выступление в Париже.

А, может-быть, это и не такой уже неожиданный подарок для нашей охранки? Может-быть, пылкий Матюшенко — уже марионетка в руках опытного Рачковского?

Хищным зверьком встретил меня Матюшенко; бросил в угол дивана свое маленькое упругое тело, плотно сжал тонкие губы, притаился, ощетинился, всем доводам противопоставляя крепко сжатый в руке браунинг...

— Вот программа и евангелие моей политики. Это и еще бомба — и все остальное чепуха... «Прямое действие» всюду и везде — это тактика! Все остальное — плащ, скрывающий вашу трусость и подлость. Я разочаровался во всех... были революционеры, а сейчас шкурники... здесь увлеклись покоем безопасности... заснули Иродовы дети... у, шкурники проклятые!.. Всего боитесь... я еще не выстрелил, только браунинг в руки взял, а ты уже с постели поднялся...

— Стой! Ты с кем идешь завтра?

— Я?.. Один!

— Правда?

— Правда.

Снова жуткая мысль о провокации...

Но высказать эти догадки Матюшенко — значило погубить все дело. Когда Матюшенко верил кому-нибудь, он верил до конца, до синяка от предательского удара. Я хорошо понимал, что всякая моя попытка даже простого анализа солидности его политических друзей будет понята им, как вызов, как бессовестная попытка оговорить в политических целях честных людей, и заставит его еще больше ощетиниться, заострить его волю к выполнению намеченного плана. В довершение всего я не знал точно, в чем состоял последний; я слышал только, что речь шла о вооруженной экспроприации какого-то банка.

Пришлось действовать осторожно; я повел правильную атаку; я пустил в ход весь запас своего политического красноречия, я громоздил аргумент на аргумент, я был таким умным, что, кажется, потерял всякую убедительность. Ибо все мое красноречие и все мои таланты, как камень о водопад, разбивались о стальную решимость этого маленького бронзового человека. И когда я почувствовал, что все кончено, когда в отчаянии потонули мои огромные суммы на подкуп французской печати, терпеливо и последние слова, я вдруг сам ощетинился и, подойдя к нему, — в упор:

— Слушай, Матюшенко, помнишь Феодосию? Ты неоднократно говорил мне, что за Феодосию—ты мой неоплатный должник. Так вот я, твой кредитор, пред'являю вексель к оплате: ты отдашь мне сейчас браунинг, а затем уедешь из Парижа...

— Только не это... понимаешь... поручение группы... не мое личное дело.

По его глазам, потерявшим свой блеск, я понял, что на этот раз я на верном пути...

— Это подло, — меня сочтут за труса...

Теперь уже я вцепился в него мертвой хваткой...

И никогда не забыть мне решительного жеста, с которым он протянул мне свой браунинг, и этого глухого:

— Ладно... завтра я уеду... уходи... сквитались.

Больше я его не видел... Поздно вечером на другой день Файнгольд сообщил мне, что видел его на Лионском вокзале в вагоне 3-го класса поезда, уходящего в Швейцарию...

Когда Матюшенко был арестован, он ничего не говорил на допросе о Швейцарии... Значило ли это, что он вернулся с дороги обратно в Париж и жил там, скрываясь от русских эмигрантов, или же у него были основания скрывать от жандармов свое пребывание в Швейцарии? Думаю, что Матюшенко действительно был в Швейцарии, связался там с русской анархической организацией «Альбатрос», и по поручению этой организации выехал в Россию. И почти убежден, что он стал жертвой провокации, гнездившейся в этой группе.

Почти одновременно с ним выехал в Россию вождь этой группы анархистов, некий Гольденберг (за точность фамилии, за давностью лет, я, впрочем, не ручаюсь). Гольденберг с чужим паспортом проехал в Киев, и на вокзале, по прибытии поезда, к нему в купе ворвались жандармы с ордером на арест; ордер был, очевидно, именной, так как, несмотря на то, что Гольденберг успел застрелиться и у него были найдены только чужие бумаги, в тот же день в киевских газетах появилось сообщение о самоубийстве при аресте опасного анархиста Гольденберга.

Сопоставляя все эти факты, я тогда же пришел к выводу, что и Матюшенко и Гольденберг выехали в Россию, по поручению группы «Альбатрос», по одному и тому же делу и оба стали жертвой провокации...

Со времени Потемкинского восстания прошло уже двадцать лет, а образ революционного корабля все еще продолжает пленять взоры историков, художников и писателей своей чарующей романтикой...

История нашей первой русской революции знала восстания, которые, с точки зрения военного действия, на много стоят выше над Потемкинским восстанием.

Во время шмидтовского восстания восставшие корабли дали настоящий морской бой, а в Свеаборге в 1906 году матросы дрались, как львы, против превосходящего огня крепостных батарей и оставшихся верным царскому правительству кораблей

и сдались только после того, как расстреляли свои последние снаряды...

А «Потемкин» решительно уклонялся от боя; «Потемкин» — могучий, почти непобедимый броненосец Черного моря, сдался в полной боевой готовности, со складами снарядов, достаточных для десятка морских сражений.

Это про него парижской буржуазной газетой «Le Matin» («Ле Матэн») были сказаны отмеченные В. И. Лениным слова: «Удивительное дело: революция завладела броненосцем и не знает, что с ним делать».

И все же даже среди бушующего революционного океана 1905 года «Потемкин» выступает гигантским видением. И это потому, что в «Потемкине» — ключ революции не только 1905 года, но и революции Октябрьской. «Потемкин» — это первая попытка русского крестьянства соединить свои действия с рабочим классом России. Где причина преждевременного выступления потемкинцев? Только казенные борзописцы царского правительства могли думать, что она — в червивом мясе. Червивое мясо было постоянным бытовым явлением в русском флоте, а восставшие корабли не каждый день прохаживались вдоль наших берегов. Причина морского восстания — береговая революция в Одессе. Если бы миноноска не привезла из Одессы вместе с червивым мясом вестей об одесском восстании, потемкинские матросы, вероятно, ждали бы прибытия эскадры для осуществления общего плана восстания.

Но потемкинцы узнали, что рабочие восстали; среди команды находилось до 200 матросов, взятых правительством от станка, и они увлекли на помощь восставшим одесским рабочим остальных пятьсот, пришедших от сохи.

Крестьянская масса, в лице потемкинской команды, впервые в истории русского революционного движения решила действовать совместно с рабочим классом. И бессмысленная провокация офицеров «Потемкина» явилась уже простым следствием созревшего решения потемкинской массы.

И дальнейший ход Потемкинского восстания — это первые робкие, неумелые шаги революционного крестьянства навстречу восставшему пролетариату. Оно идет к нему неуверенно, ощупью, как малый, только-что начинающий ходить ребенок, поминутно падая и тыкаясь носом об уходящую землю...

Просмотрите под этим углом зрения весь ход Потемкинского восстания, и вам станут понятными все его успехи и неудачи. Ибо что в самом деле должны были делать — с точки зрения военной — матросы «Потемкина», овлаевши кораблем на Тендре? Спокойно ждать на Тендре прибытия остальной эскадры, всячески маскируя от правительства происшедшее.

Вместо этого матросы решают немедленно итти в Одессу, потому что там восставшие рабочие, потому что необходимо начать путь, предопределенный всем ходом развития российской

революции крестьянству итти на смычку с рабочими.

Но этот шаг — прибытие в охваченную восстанием Одессу — властно диктовала необходимость довести до конца логику береговой революции. Воспользоваться первым замешательством властей и революционным настроением масс, высадить небольшой десант, вооружить мелкокалиберными пушками, пулеметами и ружьями рабочих, с помощью их и артиллерийского огня с броненосца захватить город, образовать временное революционное правительство, об'явить переход земель в руки крестьянства, начать формирование революционной армии и приступить к выполнению всей этой программы, не теряя ни одной минуты, не оглядываясь назад, не дожидаясь эскадры, — вот что диктовала логика береговой революции и дальнейшего раскрытия внутреннего содержания Потемкинского восстания.

Это и есть та самая программа, которую начертали во время Потемкинского восстания Плеханов и Ленин.

«Как только „Потемкин" пришел в Одессу, надо было высадить под прикрытием его пушек значительную часть его людей на берег и свезти туда же все то холодное и огнестрельное оружие, которое только можно было свезти, — писал в это время Г. В. Плеханов в своем „Дневнике". — Матросы наскоро показали бы рабочим, как надо обращаться с этим оружием, внушили бы им кое-какие понятия о боевой дисциплине и, разделив их на дружины, стали бы в центре этих дружин в качестве их военных руководителей. Благодаря этому, борьба рабочих с царским войском стала бы несравненно успешнее, и кровавые одесские дни составили бы эпоху в истории нашего революционного движения».

«Говорят, что восставшие матросы „Потемкина" сочли необходимым дожидаться прибытия остальной эскадры. Но было ли это необходимо в самом деле? Ведь революционные события не ждут, и случай, упущенный сегодня, крайне редко возвращается по желанию упустивших его революционеров»...

В. Северцов указывает на такую же программу военного восстания в статье, напечатанной в «Пролетарии» (№ 8):

«Если бы орудия броненосца были приведены в действие и одновременно в городе были бы возведены баррикады, вооруженные мелкокалиберными пушками, снятыми с броненосца, — войска были бы вытеснены из города...».

«Тяжел урок одесского восстания, — писал В. И. Ленин, — но на почве революционного уже настроения он научит теперь революционный пролетариат не только бороться, но и побеждать... Насущные политические вопросы современного момента — восстание и революционное правительство».

Почему этого не было сделано?

И Г. В. Плеханов и В. И. Ленин тут чрезвычайно осторожны в своих суждениях:

«Повторяю, у меня слишком мало данных для того, чтобы я позволил себе решительно высказаться обо всем», — пишет в той же статье Г. Плеханов.

«Тут есть большая доля правды, — пишет В. И. Ленин, по поводу цитированного выше замечания газеты «Ле Матэн». — Мы повинны, спора нет, в недостаточной организованности революции. Мы повинны в слабости сознания некоторых социал-демократов насчет необходимости организовывать революцию, поставить восстание в число неотложных практических задач, пропагандировать необходимость временного революционного правительства. Мы заслужили то, что нам, революционерам, делают теперь буржуазные писатели упреки по поводу плохой постановки революционных функций. Но заслужил ли этот упрек броненосец „Потемкин" — мы не решимся сказать» [1].

Тем удивительней, что целый ряд товарищей, изучающих историю потемкинского движения и имея теперь в своем распоряжении исчерпывающие материалы, не сумели вскрыть настоящих причин поражения Потемкинского восстания.

Все эти товарищи исходят в своих суждениях из перлюстрированного жандармами письма Мохова:

«Бунд и Всеобщий рабочий союз матросов [2] в первый день предлагали бомбардировать город и затем высадить десант. Представители организаций высказались против бомбардировки, находя это жестоким. Тогда матросы отказались высадиться до прихода остальной эскадры».

Основываясь на этих сообщениях Мохова, целый ряд товарищей, пренебрегая историческим материалом, делают вывод, что все дело в меньшевиках, засевших на броненосце, которые не сумели развить должной революционной тактики.

«Меньшевики Кирилл и Фельдман, — пишет Н. Авдее [3], — при всей своей революционности и некоторых организаторских способностях, всей своей предшествующей практикой не были подготовлены к большевистской тактике, которая необходима была для успешности восстания».

«Что касается тех социал-демократов, которых судьба связала с „Потемкиным", — пишет С. Шрейбер [4], — то они несмотря на свои революционные качества, тоже дали маху в организационном отношении. Ни в воспоминаниях Кирилла («Одиннадцать дней на „Потемкине-Таврическом"), ни в воспоминаниях Фельд-

---

[1] Соч. Ленина, т. VI, стр. 275–276.

[2] Такой организации даже не существовало в Одессе в 1905 г.

[3] См. «Восстание на броненосце «Потемкин». 1905 г.—История революционного движения в отдельных очерках, под редакцией М. Н. Покровского, т. II—«От января к октябрю», стр. 223. Изд. Ком. ЦИК и Истпарта.

[4] «Потемкинские дни 1905 г. на Черном море», изд. Комиссии ВУЦИК'а по празднованию 20-летия революции 1905 г. и Истпартотдела.

мана [1] (недавно опубликованных в сборнике под ред. В. Невского) нет указаний на какую-либо попытку с их стороны связаться с партийным комитетом, получить от него инструкции, выработать совместный план действий, хотя оба они попали на корабль по собственной инициативе, а не по командировке организации. Может-быть, это было бы трудно, но, наверно, не невозможно, ведь ходил же Фельдман с матросской депутацией к командующему войсками, ходили матросы на похороны Вакулинчука, а сговориться с партийными товарищами на берегу о совместных действиях как-будто и не попробовали.

«Если мы вспомним, что севастопольская организация была меньшевистской, что меньшевиками были и Кирилл и Фельдман, то странности в их поведении, также как в поведении соц.-дем. потемкинцев, получат некоторое об'яснение. Меньшевистская севастопольская организация не смогла дать своим питомцам твердых организационных навыков; что касается Кирилла и Фельдмана, то они сознательно или бессознательно ориентировались на „стихию", стремились развязать революционное действие, но не сумели организовать его, дать ему определенный план и ясные задания.

«Бесплановость, случайность всех действий революционной команды „Потемкина" поражает во все моменты восстания от самой первой вспышки до феодосийской катастрофы. И руководители с берега ничего своим присутствием не исправили, никакой тактической разумности не внесли. Это тем более странно, что они, судя по всем материалам, были смелые самоотверженные революционеры и талантливые ораторы, но... (как бы тенденциозно это замечание ни показалось) они были меньшевиками и сторонниками „тактики-процесса". Этот „процесс" и привел одного в тюрьму, другого в эмиграцию, а все дело восстания — к трагическому крушению».

Все эти утверждения совершенно неверны. Мохов вообще ошибался, когда утверждал, что представители социал-демократов высказались против бомбардировки города. Наоборот, целый ряд воспоминаний участников, равно как и материалы следствия, определенно указывают, что именно социал-демократы, пришедшие с берега, вели непрестанную агитацию за бомбардировку города, натыкаясь постоянно на сопротивление матросов. Точно так же самое элементарное знакомство хотя бы с тем же следственным материалом опровергает положение Шрейбера о «бесплановости выступлений представителей соц.-демократических организаций». С первого же момента своего вступления на ко-

---

[1] В своих воспоминаниях, опубликованных Невским, я определенно указываю, что мы все время ожидали товарищей с берега и неоднократно посылали навстречу им дозорные шлюпки. А на третий день восстания—на берег для связи с организациями и получения от них инструкций был отправлен Афанасий. Ни ему ни другим товарищам не удалось проникнуть на броненосец.

рабль мы развернули перед матросами программу береговой революции в той же точно формулировке, которую мы нашли потом у т.т. Плеханова и Ленина. Эту программу мы неустанно старались проводить на корабле, ни на минуту не прекращая нашей агитации за нее; за осуществление каждого пункта ее мы боролись часто с опасностью для жизни, и если нам не удалось ее провести, то (помимо личных наших недостатков) причина лежит глубже: тут дело в том, что недостаточно созрели еще революционные силы и революционное сознание русского крестьянина.

Наши усилия заставить матросов вступить на путь береговой революции потому не увенчались успехом, что крестьянство, в лице команды «Потемкина», недостаточно уверовало еще в силу и мощь рабочего класса. Для того, чтобы оторваться мыслью от эскадры, потемкинские матросы должны были уверовать в силу рабочих на берегу, — этой уверенности у них не было...

Уход эскадры повернул снова потемкинцев лицом к береговой революции... И тут снова та же неуверенность, приведшая к паническому бегству в Румынию при первой серьезной неудаче восстания (измена «Георгия»).

И потом это одинокое скитание корабля, бег к кавказским берегам, чтобы там поднять восстание и все то же сознание своего одиночества, томление горсти крестьян, не почувствовавших еще биения великого сердца пролетариата, не почуявших еще его силы, не уверовавших в него. Вот почему глупая солдатская винтовка бравого феодосийского полковника Герцыка победила мощный броненосец: она убила неокрепшее еще сознание классовой общности интересов рабочих и крестьян, она надломила и без того робкую веру матросов «Потемкина» в береговую революцию.

«Берег не будет стрелять...».

А берег выстрелил...

И вот почему, несмотря на всю неудачу восстания, нам так дорог образ этого одинокого корабля, потому что в нем олицетворение обеих революций: революции 1905 года, которая была, в сущности, не чем иным, как славной первой попыткой двух движущих классов российской революции — пролетариата и крестьянства — соединиться для того, чтобы захватить в свои руки власть, и революции 1917 года, когда оба эти класса соединились в одном мощном усилии и захватили в свои руки власть.

«И в Румынии революционный броненосец, — пишет В. И. Ленин, — передал консулам прокламацию с об'явлением войны царскому флоту, с подтверждением того, что по отношению к нейтральным судам он не позволит себе никаких враждебных действий. Русская революция об'явила Европе об открытой войне русского народа с царизмом. Фактически русская революция делает этим попытку выступить от имени нового революционного правительства Рос-

сии. Несомненно, что это лишь первая, слабая попытка, но... „лиха беда — начало", — говорит пословица...».

«Потемкин» и был этим началом — началом длинного революционного действия, получившего свое завершение в октябрьские дни 1917 года.

В этом великое значение Потемкинского восстания.

Приложение.

В. Бухгольц.

ПОТЕМКИНЦЫ В ГЕРМАНИИ [1].

Когда в Берлине впервые была поставлена фильма «Броненосец Потемкин», я вместе с аудиторией «Апполо-театра» с глубоким волнением следил за событиями, с такою яркостью восстановленными перед нами на экране. И во мне, который во время Потемкинского восстания жил в Германии и которому пришлось быть связанным с некоторыми из его участников, эта фильма пробудила рой воспоминаний. Этими воспоминаниями я хочу здесь поделиться с читателями.

1.

Прошло уже два месяца после Потемкинского восстания, когда ко мне зашла Мальвина Марковна Мрост, в то время активный член «Группы содействия Российской Социал-Демократической Рабочей Партии» в Берлине, и сказала, что ей для крайне важной цели необходимо достать немедленно 1 000 рублей и просила моей помощи. Она рассказала мне о судьбе, постигшей юного одесского товарища, Константина Фельдмана, который должен быть предан военному суду и единственный приговор, которого можно ожидать, — смертная казнь через повешение.

В Одессе жили два брата Фельдмана. Они были озабочены спасением брата от ужасной участи и решили попытаться устроить его побег. С этой целью один из них поселился под чужим именем в Севастополе, где К. Фельдман содержался в тюрьме.

---

[1] Автор настоящих воспоминаний Вильгельм Адольфович Бухгольц, родивш. в 1886 г., германский подданный, уроженец г. Оренбурга. В 1887 г. за участие в студенческих беспорядках был исключен из петербургского университета. В 1888 г. за участие в новых университетских беспорядках был выслан на родину в Оренбург, в 1891 г. выехал за границу. В 1893—95 г.г. учился в университете в Цюрихе. В 1895 г. был делегатом от русских рабочих (Иваново-Вознесенска) на международном социалистическом конгрессе в Лондоне. В 90-х годах был берлинским представителем «Союза русских с.-д.» и главным посредником по сношениям «Союза» и группы «Освобождение Труда» с Россией. В 1900 г. примкнул к группе «Искра». В 1908 г. вошел в состав Бюро Берлинской с.-д. группы, а потом в состав Загран. бюро РСДРП.

Во время империалистической войны т. Бухгольц принадлежал к немногим немецким с.-д., занявшим открыто враждебную позицию к войне и во избежание ареста вынужден был эмигрировать в Швейцарию.

В настоящее время живет в Берлине, работает в немецких периодических изданиях, главным образом по социально-экономическим вопросам. *Ред.*

Ему удалось узнать, что один из надзирателей этой тюрьмы ежедневно купается в море. Брат Фельдмана стал ходить в те же часы и в ту же купальню, и там ему удалось познакомиться с надзирателем. Это знакомство скоро повело к откровенным разговорам, которые кончились тем, что тюремный надзиратель согласился вывести Фельдмана из тюрьмы. Он при этом поставил только одно условие: ему должна быть дана определенная сумма для того, чтобы он мог скрыться из России от грозящего ему наказания и эмигрировать в Америку. По сделанным расчетам на побег Фельдмана и его тюремщика необходимо было иметь сумму, приблизительно в тысячу рублей [1].

Но партийные организации не могли материально помочь в этом деле, они сами с величайшим трудом добывали денежные средства, необходимые на текущую политическую борьбу. Делать сборы в каком-нибудь широком кругу для этой цели было, конечно, совершенно немыслимо, потому что все это предприятие необходимо было держать в строжайшем секрете. Если бы по чьей-нибудь неосторожности, слух о готовящемся побеге дошел до властей, то им стоило бы только перевести Фельдмана в другую тюрьму или сместить стражу в тюрьме — и план освобождения был бы расстроен. Братья Фельдмана решили поступить так: один из них едет в Берлин и пытается там получить необходимую сумму через посредство кого-нибудь из живущих там русских товарищей, которому можно доверить их тайну. Получив эти деньги, он немедленно пересылает их другому брату, оставшемуся в России и находившемуся в контакте с надзирателем тюрьмы, в которой находится потемкинец Фельдман. И вот один из братьев, приехав в Берлин, изложил свое дело их землячке, Мальвине Марковне Мрост. Разговор с Мальвиной Мрост происходил как раз накануне моего обычного посещения Партейфорштанд (Центрального Комитета) германской социал-демократической партии, где я получал ежемесячно для русской эмигрантской кассы в Берлине 1 000 марок, которые он выдавал ей на нужды

---

[1] В устройстве побега т. Фельдмана из севастопольской военной гауптвахты принимали участие следующие организации: Одесский Комитет РСДРП (б-ков), Киевский Комитет (б-ков) и Крымский Союз.

Брат К. Фельдмана, состоявший в то время членом Одесского Комитета (кличка «Евгений») вышел специально для этой цели из состава Комитета и отправился в Севастополь. Другой брат Фельдмана, также активный работник Одесской организации, только что освобожденный из екатеринославской тюрьмы, вынужден был уехать за границу из-за угрозы нового ареста; отправляясь в Берлин, он взял на себя поручение Одесского Комитета достать там деньги для побега т. Фельдмана.

«Евгений» Фельдман сообщал о всех своих шагах и планах побега в Одесский Комитет и оттуда получал подробные инструкции, при чем все сношения с Комитетом шли через т. Емельяна (Ярославского). Кроме названных товарищей, в организации побега участвовали следующие товарищи: от Киевского Комитета—Коган («Андрей») и Зборовский («Федор»), неоднократно ездившие по этому делу в Севастополь; от Крымсоюза—Канторович, сапожник Делихнов («Иван Иванович»), на квартире которого происходили собрания организаторов побега и т. А. А. Иоффе, вывезший т. Фельдмана из Севастополя.

товарищей, спасшихся из России за границу от преследования царского правительства. Рассчитывая получить от Партейфорштанда необходимые для побега деньги, я предложил ей отправиться со мной вместе туда на следующий день.

Когда на завтра мы изложили Партейфорштанду наше пожелание, мы, вопреки моему ожиданию, получили отказ. «В последнее время, — сказал нам член Партейфорштанда Пфаннкух, — к нам то и дело с различных сторон поступают просьбы оказать помощь для спасения от грозящей смертной казни русских революционеров, и мы, не имея возможности проверить, насколько серьезна ситуация в данном случае, не находим возможным удовлетворить ваше ходатайство». Все мои попытки переубедить членов Партейфорштанда, с которыми мы беседовали, оказались бесплодны. Наконец, я увидел, что продолжать спор было бы бесполезно. Мне осталось только попросить очередные 1 000 марок для эмигрантской кассы. Я их получил, и мы вышли из помещения Партейфорштанда с самым тяжелым чувством.

Мысль о том, что я оказался бессильным помочь спасти жизнь товарища, была для меня невыносима. Достать из какого-нибудь другого источника такую крупную сумму, да еще в короткое время, по моему мнению, было совершенно невозможно. И у меня вдруг явилась мысль прибегнуть к крайней мере. Я сказал брату Фельдмана, что считаю долгом не останавливаться ни перед чем в выборе средств для спасения его брата Я только-что получил 1 000 марок для передачи эмигрантской кассе; я не имею права распоряжаться этими деньгами, но в виду исключительности положения я решаюсь это сделать. Я прошу его принять от меня только-что полученные мною от Партейфорштанда деньги для спасения его брата. Сумму денег, которой еще недостает, после этого будет легче достать. Брат К. Фельдмана был в нерешительности, он указал мне на ответственность, которую я беру на себя, самовольно распоряжаясь не принадлежащими мне деньгами. Я ответил, что не думаю, чтобы мне грозила серьезная ответственность, но что, какова бы она ни была, когда речь идет о спасении жизни товарища, я считаю невозможным перед нею остановиться. Фельдман продолжал колебаться, но, наконец, уступил моему настоянию и принял деньги.

Через два дня после этого, Мальвине Марковне Мрост удалось получить от немецкого фабриканта Юлиуса Герсона недостающие 1 000 марок. Для того времени получение пожертвования такого крупного размера от одного лица — иностранца надо считать достижением поистине чудесным. Деньги, полученные для спасения Фельдмана, были немедленно отправлены в Россию.

В один из ближайших дней вечером было назначено заседание берлинской эмигрантской кассы. Она в то время была внепартийным учреждением. В нее входили, наряду с некоторыми товарищами, уполномоченными берлинскими группами содействия различным российским социалистическим фракциям, также и ряд беспартийных лиц, которые специально занимались устройством

балов и других доходных предприятий в пользу кассы. Секретарем эмигрантской кассы тогда был беспартийный инженер Абрамов, который проявлял большую энергию в устройстве таких предприятий. Он имел на Шоссештрассе русскую инженерную контору. Помещение этой конторы служило приемным пунктом для товарищей, бежавших из России, и Абрамов имел поручение устраивать на время их пребывания в Берлине и содействовать их выезду в другие, более свободные страны. Моя жена входила тогда в эмигрантскую кассу по уполномочию от местной группы содействия Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Я сам в кассу не входил, но, в виду того, что при моем содействии было исходатайствовано получение ежемесячного пособия в пользу нее от Партейфорштанда, мне было поручено получить там эти деньги.

Перед заседанием я отправился вместе с Мальвиной Мрост к товарищу Блюмину, который входил в эмигрантскую кассу по поручению берлинской группы Бунда. Мы изложили ему откровенно о моем самовольном поступке и сказали, что вечером моя жена в заседании эмигрантской кассы доложит, что не имеет возможности, как это делала всегда, представить кассе полученные мною от Партейфорштанда деньги по той причине, что я счел необходимым самовольно потратить их на одно неотложное и крайне серьезное дело, о сущности которого я не могу, по конспиративным причинам, доложить собранию кассы. Мы просили товарища Блюмина после этого взять слово и сказать, что ему известно точно, на какое дело я потратил деньги, предназначенные для кассы, и он считает необходимым подтвердить, что положение было исключительное, ассигнование денег было необходимо немедленное и что это дело таково, что более или менее широкому кругу товарищей, даже заслуживающих вообще доверия, в настоящее время не может быть сообщено, в чем оно состоит.

Вечером на заседании кассы моя жена и т. Блюмин сделали заявления согласно нашему уговору. Как и можно было ожидать, они вызвали сильное неудовольствие. Председатель собрания Абрамов, поддержанный частью членов кассы, требовал, чтобы было указано, на какую цель пошли деньги; он указывал на то, что, независимо от недопустимого самовольства и нанесения ущерба нуждающимся товарищам-эмигрантам, отказом сообщить, на какую цель пошли деньги, нанесено оскорбление всем членам эмигрантской кассы. Собрание кассы большинством приняло резолюцию порицания за мой самовольный и незаконный поступок, но этим для меня дело и ограничилось. Касса не нашла необходимым ни передать моего поступка на рассмотрение русской социал-демократической группы ни довести о нем до сведения Партейфорштанда, и я после этого продолжал получать от Партейфорштанда пособие для эмигрантской кассы.

Не прошло, насколько мне помнится, и десяти дней после отсылки денег в Россию, как в немецких газетах появилось теле-

графное сообщение из России, что заключенный по делу о Потемкинском восстании Фельдман бежал из тюрьмы и вместе с ним скрылся один из тюремных надзирателей. Мы, берлинцы, посвященные в дело Фельдмана, знали, что для него была подготовлена возможность контрабандного перехода через русско-германскую границу в каком-то пограничном пункте Польши, и ожидали со дня на день его прибытия в Германию; но прошло уже много дней, а он не приезжал, и мы пережили немало тревоги при мысли, что по дороге он где-нибудь мог опять попасть в руки русских властей.

Однажды утром я разворачиваю газету и читаю в ней, что в каком-то местечке русской Польши арестован бежавший Фельдман по пути в Германию. Я с тревогой сообщил об этой заметке М. М. Мрост, но она встретила это сообщение очень спокойно. «Не беспокойтесь, — сказала она, — я имею лучшие сведения, чем ваша газета. Скоро мы будем приветствовать Костю Фельдмана в Берлине». Ее слова сбылись: через несколько дней тесный кружок русских и немецких товарищей собрался на квартире Карла Либкнехта, где Константин Фельдман нам подробно рассказал о Потемкинском восстании и о том, что он в связи с ним пережил.

После Февральской революции 1917 года мне пришлось убедиться, как я был прав, решив не доводить до сведения эмигрантской кассы, на какую цель пошли самовольно затраченные мною 1 000 марок. Когда проживавшие в Париже русские революционеры добились от русского посольства выдачи списка лиц, работавших через посредство этого посольства для русской охранки, в числе провокаторов, обнаруженных на основании этого списка, оказался, бывший в 1905 году секретарем берлинской эмигрантской кассы, инженер Абрамов.

2.

В последних числах августа 1905 года я был вызван в Партейфорштанд. Там мне сказали, что от лейпцигских товарищей получилось письмо, в котором, со слов одного проживающего в Лейпциге русского товарища, сообщалось следующее. Он состоял в переписке с некоторыми из бывших матросов броненосца «Потемкин», которые после своей высадки в Румынии поселились там, занявшись сельско-хозяйственным трудом. Они ему написали, что условия их тамошней жизни оказались очень тяжелыми, и они задумали переселиться к русским крестьянам-духоборам в Канаду. На свои маленькие сбережения они решили выехать в Англию, где почему-то рассчитывали достать деньги на дальнейшую дорогу. Однако, проезжая по пути в Англию через Германию, они попали в руки агентов немецкой компании заокеанского пароходства и, конвоируемые этими агентами, сегодня вечером должны прибыть в Берлин на Ангальтский вокзал. Теперь надо позаботиться, чтобы этим потемкинцам удалось скорее безопасно выехать в Англию, потому что, пока они в Германии, им грозит опасность быть выданными России.

То, что произошло с потемкинцами, при германских порядках ках довоенного времени, было явлением повседневным. Германское правительство дало в порядке административных распоряжений двум немецким пароходным компаниям Гамбургско-Американской линии (в Гамбурге) и Северо-Американскому Ллойду (в Бремене) исключительные права по отношению к тем эмигрантам из соседних стран (России, Австрии, Румынии), которые направлялись через Германию в Америку. Агенты этих компаний, размещенные на важнейших станциях по пути обычного следования таких эмигрантов, имели право предложить железнодорожной полиции задержать их или лиц, которых по наружному виду можно было за них принять, и препроводить их в один из эмигрантских лагерей этих компаний.

По прибытии туда, эмигрантам предлагали взять от Гамбургско-Американской линии или Северо-Американского Ллойда билеты на проезд в Америку. Если захваченные в плен заявляли, что они направляются в Англию или Францию, или какую-нибудь другую из западно-европейских стран и не имеют никакого желания ехать в Америку, или же, если они действительно ехали в Америку, но уже имели билеты какой-нибудь другой заокеанской пароходной компании (многие друзья или знакомые из Америки присылали полученные там с уплатою в рассрочку более дешевые билеты голландских компаний), то это им ничуть не помогало. Им заявляли, что, если они не возьмут билета на проезд в Америку здесь, у данной компании, то они будут препровождены обратно на родину. Конечно, у большинства эмигрантов не было денег на оплату этих билетов, и им предлагалось обратиться к родным или знакомым с письменною просьбою о присылке необходимой для этого суммы, при чем в ожидании ответа они в качестве пленников должны были жить в лагере пароходной компании. Если же такого рода русские «пленные» заявляли, что у них нет никого, кто бы мог прислать деньги на билеты в Америку, или если по истечении трех-четырех недель они ниоткуда денег не получали, их беспощадно отправляли обратно к русской границе для передачи русским властям. Власть пароходных компаний над иностранными бедными выселенцами германское правительство мотивировало опасением, что массы бедняков, гонимых безвыходной нуждою из их стран, могут задержаться на долгое время в Германии. Для компаний эти пассажиры, заполнявшие цвишендеки (корабельные трюмы), приспособленные без малейшего комфорта под четвертый пассажирский класс, при размерах тогдашней эмиграции в Америку были источником огромного дохода. По усердию, с которым агенты пароходных компаний старались уловить возможно больше жертв в свои сети, можно было заключить, что за свой улов они получали поштучное вознаграждение. Привилегированное положение этих двух пароходных компаний и беззастенчивость, с которою они им продолжали пользоваться, несмотря на поход, открытый против них в печати и парламенте социал-демократическою партией, на-

ходило, вероятно, об'яснение в том, что главным директором одной из этих линий (Гамбургско-Американской) был Баллин, который, несмотря на свое еврейство, был личным другом Вильгельма и советником в его личных финансовых операциях.

Вечером того же дня, как я получил сообщение Партейфорштанда об участи, постигшей потемкинцев, я отправился на Ангальтский вокзал и стал дожидаться прибытия поезда, в котором находились потемкинцы. Когда он пришел, из одного из вагонов четвертого класса стали показываться их фигуры. Они были очень бедно одеты, и каждый из них имел с собою громадного размера мешок со всяким скарбом. Всего бывших потемкинцев оказалось 37 человек, двое из них везли с собою своих жен, урожденных румынок, и маленьких ребятишек. Эта необычная толпа, конечно, не могла не обратить на себя внимание баллинских коршунов. От сопровождавших ее агентов пароходной компании мне удалось узнать, что они их сейчас препроводят на Лертский вокзал и оттуда в тот же вечер — в Гамбург. Я поехал с тем же поездом в Гамбург. На следующее утро я присутствовал при их выгрузке из вагона и приготовлениях к их отправке в бараки Гамбургско-Американской линии. С вокзала я немедленно отправился в редакцию гамбургской социал-демократической газеты. Туда сейчас же по телефону были вызваны два видных представителя местной социал-демократической организации (они оба были, между прочим, и гласными гамбургской городской думы). Они поехали со мною в эмигрантский лагер, который находился в гавани на порядочном расстоянии от центра города. Мы были приняты дирекциею лагеря. Мои спутники, указав на свое общественное положение, сказали, что имеют от лиц, озабоченных судьбою прибывшей сегодня утром партии русских, поручение позаботиться о их участи и оказать им содействие всем, что окажется необходимым. Мы ничего не сказали двум представителям дирекции, беседовавшим с нами о том, кто такие прибывшие русские, так как считали положение потемкинцев в Германии чрезвычайно опасным. При тогдашнем отношении германского правительства к русскому можно было опасаться, что оно будет радо выдать России бунтовщиков, над которыми тяготеет обвинение в убийстве офицеров. Из разговоров директоров лагеря с нами мы вынесли заключение, что они еще не знают, кто такие те русские, о которых мы печемся. И нам заявили, что эти русские должны будут на пароходе их компании поехать в Америку. В ответ на это мы вежливо, но энергично заявили, что ехать сейчас в Америку они не хотят, а хотят ехать в Лондон, где у них имеются друзья, которые могут позаботиться о их дальнейшей судьбе, что на оплату дороги до Лондона у них имеются деньги, а что на оплату их путешествия в Америку потребовалась бы очень большая сумма, которой у них нет. Распорядители лагеря категорически повторяли, что прибывшие могут уехать только в Америку, и предложили нам позаботиться о том, чтобы деньги для оплаты проезда в Америку нашлись Нас, конечно, глубоко

возмутила вымогательская попытка баллинских агентов, тем более беззастенчивая, что они не постеснялись присутствия лиц, занимающих в Гамбурге очень видное общественное положение. Однако мы знали, что судьба потемкинцев теперь в руках этих господ, и мы должны быть в высшей степени сдержаны и тактичны, чтобы не накликать беды. Мы сказали, что должны подумать и обсудить друг с другом, какие еще у нас имеются возможности помочь нашим подзащитным. Нас спросили, не хотим ли мы воспользоваться нашим пребыванием в лагере, чтобы осмотреть его, и один из членов дирекции сам проводил нас туда. Надо признать, что кухня и лагерное помещение произвели на нас довольно хорошее впечатление своим наружным видом. Жизнь обитателей лагеря в изображении водившего нас, представлялась настоящей идиллией. Один барак оказался специально назначенным для венгерцев, проезжающих в Америку. Перед этим бараком была просторная площадь. «Здесь, — сказал член лагерной дирекции, — венгерцы отплясывают свой чардаш».

Осмотр лагеря продолжался полчаса. По окончании его мы начали совещаться о том, какие меры следует принять в связи с вымогательскими намерениями пароходной компании. Но не успели мы кончить наше совещание, как нас попросили обратно в дирекцию. Теперь с нами заговорили совсем другим тоном. В то время, как нас не было, там успели узнать, кто такие их арестанты. В начале нашего разговора нам дали прочитать заметку, напечатанную на малозаметном месте в одной из гамбургских газет. В заметке сообщалось о прибытии из Румынии в Германию 37 бывших матросов-потемкинцев. Чины лагерной дирекции сказали нам: «Мы предлагаем вам немедленно забрать от нас партию приехавших, о которой вы печетесь». Мы просили, не могут ли они посадить их на пароход, который останавливается в Англии. За проезд мы заплатим. «Нет, нет, — сказали они, — мы никаких дел с вашими клиентами не хотим иметь и просим вас только как можно скорее избавить нас от них». Мы попросили дать нам совет, каким образом мы их скорейшим путем можем вывезти из пределов Германии. Они посоветовали нам повезти их поездом на Флиссинген, в Голландию, и там посадить на пассажирский пароход, идущий в Лондон. Любезность лагерных управителей была так велика, что они даже обратили наше внимание на то, что для сокращения наших расходов мы можем ехать с нашей партиею до немецкой станции Мюнстер 4-ым классом. «Там, — сказали они, — вас нагонит скорый поезд, идущий в Голландию, и вы будете иметь возможность пересесть в него».

Мы с гамбургскими товарищами решили, что один из них т. Штуббе поедет со мною, и уже через два часа мы со всей нашей партией сидели в вагоне и в 9 часов вечера приехали в Мюнстер. Оставалось четыре часа до прибытия скорого поезда, в котором мы должны были продолжать наш путь. Мы расположились с нашими потемкинцами и их мешками в зале третьего класса. Других пассажиров почти не было видно, но в противоположной

части зала, около буфета, сидела компания молодых местных рабочих. Была ночь под воскресенье, и рабочие пришли на вокзал немного подвыпить. Это было в Вестфалии, где немцы отличаются более живым темпераментом; скоро зал огласился шумными голосами и звонким пением. Присутствующий в зале полицейский чин обратился к веселой компании с просьбой быть немного потише, но один из рабочих с укором сказал ему: «Господин шуцман! Вы тоже когда-то были молоды». Шуцман (городовой) обиженно ответил: «Я и теперь еще молод».

Через некоторое время мы, однако, стали замечать, что веселье молодой компании стало меняться каким-то другим, озлобленным настроением, а потом я вдруг услышал направленный в ту сторону, где я сидел, громкий крик: «Das ist ein Hand! Dem Hund mussman alle Knochen im Leibe zerschlagen». (Это собака! Этой собаке надо переломать все ребра! Я невольно обернулся, чтобы посмотреть, кто сидит за мною, и узнать, кто вызвал такое негодование этой молодой компании. Но я увидел, что сижу около стены и за мною никого другого нет. Было ясно, что озлобленное настроение рабочих было вызвано мною и сидевшим рядом со мною немецким товарищем Штуббе. До этого к нам подходил кто-то из вокзальных служащих и спросил, везем ли мы этих людей куда-нибудь на работу. Тов. Штуббе, конечно, счел невозможным раскрывать наши карты и с невозмутимым спокойствием ответил: «Мы везем их на работу в Америку». На последовавший за этим вопрос: «А вы это часто делаете?» он ответил: «Да, мы доставили туда уже несколько партий». Известие о том, что мы—профессиональные поставщики дешевой рабочей силы в Америку дошло до молодой рабочей компании и вызвало ее сильнейшее негодование. Они стали проявлять его во все более бурной форме. «Seelenverkäufer sind das»! (Это душепродавцы!)—кричали они. А затем подбежали к нашим потемкинцам и со слезами в голосе увещевали их: «Kinder, was macht ihr? Lasst euch nicht verkaufen! Menschen, lasst euch nich verschachern!» (Ребята, что вы делаете? Не давайте продать себя!). Но наши потемкинцы, не знавшие немецкого языка, хранили упорное молчание, а мы с т. Штуббе, как ни симпатично нам было негодование рабочих против торговцев людьми, в данной ситуации не находили возможным раскрыть им истинное положение вещей. Тем временем находившийся в зале шуцман вызвал подкрепление, и скоро явившиеся ему на помощь коллеги приступили к очистке зала от волнующихся рабочих. Те не желали добровольно сдавать позиции, и полицейские хватали их за шиворот и пинками выбрасывали на улицу. Было ясно, что и полиция приняла нас за поставщиков американским капиталистам дешевой рабочей силы. Но у нее результатом этой уверенности явилось в высшей степени почтительное и заботливое отношение к нам. Появился весьма почтенного вида полицейский офицер и спросил нас о том, каким поездом мы думаем ехать дальше. «А заказали ли вы через начальника станции для ваших

людей специальный вагон?» — спросил он и, после нашего отрицательного ответа, сказал: «Если вы этого не сделаете сейчас же, то вам не удастся разместить их в поезде. Этот поезд всегда сильно переполнен, да и стоит на станции очень короткое время». Совет офицера был очень уместен, и без него выполнение нашей задачи очень осложнилось бы. С помощью офицера мы сейчас же исправили наше упущение.

Два полицейских офицера, появившиеся на этот раз, очевидно, ради большей торжественности, в белых перчатках, известили нас, что пришло время готовиться к посадке в поезд. А когда мы с нашей партией стали выходить из зала, то по пути из него до лестницы, ведущей наверх к платформе, очевидно, для защиты нас от всевозможных неприятностей, были выстроены по бокам цепи полицейских. К приходу поезда, с которым мы должны были поехать, на платформе набралось изрядное количество полицейских чинов. Они помогли нам найти прицепленный для нас вагон и, когда поезд двинулся, любезно махали нам вслед рукою в знак пожелания счастливого пути.

На следующий день мы прибыли во Флиссинген, откуда пароход должен был в 12 часов ночи уйти в Англию. Самая большая опасность для наших потемкинцев, возможность выдачи их Германией России, была позади. Но могло быть еще затруднение при в'езде в Англию. Правда, Англия разрешала свободный в'езд политическим эмигрантам из других стран, но незадолго до этого она перестала впускать иностранных рабочих, которые хотели в'ехать в Англию, чтобы найти там работу. Между тем, наша партия по наружному виду производила впечатление именно людей, едущих в поисках работы. И теперь перед нами стала задача, прямо противоположная той, с которой нам надо было справиться в Германии. Там для нас было очень выгодно, чтобы наши потемкинцы производили впечатление уехавших на чужбину в поисках работы, и нам надо было всеми мерами не давать немецким властям догадаться, что пред ними политические эмигранты. А при первой встрече с английскими властями надо было, наоборот, произвести впечатление «политических». Но как нам это сделать? Ни я ни т. Штуббе не владели английским языком, а при спешности наших сборов в дорогу мы не успели захватить с собою в помощь товарища, говорящего по-английски. Между тем, в то время даже среди англичан, имущих классов трудно было встретить кого-нибудь, владеющего каким-нибудь иностранным языком. В этом мне пришлось убедиться во время другой моей недавней поездки в Англию, когда я заблудился на улицах в Лондоне. Чтобы добраться домой, я пытался получить указания у прохожих, но среди элегантной толпы центральных улиц Лондона не нашлось никого, кто бы понимал немецкий и французский языки, на которых я пробовал разговаривать. И только после долгих блужданий я набрел на рабочего-немца, который меня, наконец, направил на верную дорогу. Поэтому, я дал теле-

грамму проживающему в Лондоне товарищу бундисту с просьбою утром прибыть в гавань, в которую должен был прибыть наш пароход. Но я не имел уверенности, что телеграмма его застанет дома и что он или какой-нибудь другой русский товарищ успеет своевременно выехать из Лондона для нашей встречи.

Наши потемкинцы с их громадными мешками были для Флиссингена невиданным зрелищем. Сюда к английскому пароходу прибывал только скорый поезд с самою «чистою» публикою. Капитан парохода, сперва очень смущенный нашими пассажирами, решил, наконец, всю общую каюту второго класса отвести нашей компании, а всех «чистых» пассажиров, которые имели билеты второго класса, поместить в каюты первого класса. Мы с т. Штуббе решили, что, в виду предстоящей для нас на следующий день трудной работы и возможных осложнений, мы должны ночью хорошо отдохнуть и потому нашли более удобным также поместиться в первом классе, а не во втором, где не без труда разместилась вся наша компания. Они завалили своими телами и мешками не только все диваны, но и весь пол маленькой каюты. Мы посмотрели, как они поместились, и вышли на палубу, чтобы перед отходом ко сну еще немного погулять.

Когда мы ходили по палубе, к нам подошли двое из потемкинцев. «Наши беспокоятся, — сказали они, — куда же вы делись. Они думают, что вы остались на берегу, и не знают, что об этом думать». Я просил их сказать товарищам, чтобы они не беспокоились, что мы поместимся не с ними, потому что в их же интересах считаем необходимым провести спокойную ночь. Они вернулись к своим товарищам.

Надо заметить, что с потемкинцами в пути нам не удалось установить душевного контакта. С того момента, как они попали в сети баллинцев, они, как видно, не могли себе вполне уяснить, что с ними происходит, и с кем они имеют дело. Они покорно слушались указаний, которые я им давал, но, когда я пытался с кем-нибудь из них заговорить, я чувствовал, что наталкиваюсь на какую-то глухую стену недоверия. Каждый отвечал на мои вопросы односложно, уклончиво и явно был рад окончанию разговора. Видно было, что эти потемкинцы остались в Румынии прежними русскими крестьянами от сохи, сохранили глубокое недоверие ко всякому человеку из чужой для них среды.

Когда делегаты от потемкинцев ушли, я сказал т. Штуббе, что все же мы должны и сами пойти еще раз в каюту успокоить потемкинцев, которые, как видно, волнуются, думая, что попали в какую-то новую ловушку. Нам надо непременно опять показаться им и немного с ними поговорить.

Мы сейчас же спустились в каюту второго класса, но показаться там мы никому не могли, и говорить нам ни с кем не удалось. Не прошло и 5 минут с тех пор как с нами расстались делегаты, а внизу в каюте мы застали уже одно сплошное сонное царство. И вся волновавшаяся масса и сба ее делегата уже успели

растянуться и заснуть самым крепким сном, о котором свидетельствовал всеобщий богатырский храп.

3.

На следующее утро, в 6 часов, мы под'ехали к Лондону. Сходя с парохода, мы пристально осматривали берег, но, к нашему большому разочарованию, там не оказалось русских товарищей. Поезд в Лондон стоял уже по другую сторону платформы. Мы сказали потемкинцам, чтобы они быстро разместились со своими мешками по отдельным его маленьким купе. Хотя англичане и были, видимо, ошарашены необычайным для них видом потемкинцев и с удивлением таращили на них глаза, никто из них не помешал выполнению нашего стратегического плана, который был проделан потемкинцами с необычайной быстротой и проворством. Мы с т. Штуббе также уселись в одном из купе, решив выждать, что будет дальше. Вдруг дверь в купе открылась, и два англичанина в железнодорожной форме начали нам что-то говорить. Мы, конечно, не поняли ни одного слова. Я заранее решил, что на все, что мне будут говорить англичане, я буду отвечать одним словом: «политикаль». По моему мнению, так по-английски должно было звучать слово: «политические», и я этим словом хотел дать понять англичанам, что мы везем политических беглецов, которых Англия должна принять. Согласно этой моей программе действий, когда англичанин кончил свое обращение к нам, я сказал: «политикаль». Англичане переглянулись, и после этого один из них снова стал нам говорить что-то довольно долго и столь же непонятно. Мы его спокойно выслушали. Когда он кончил, я повторил: «политикаль». Англичане ушли, но минут через пять появились снова в сопровождении третьего англичанина. Непонятное обращение к нам повторилось. Каждым перерывом в их речах я пользовался для того, чтобы произнести мое неизменное: «политикаль». Наконец, англичане захлопнули дверь купе и ушли опять, а скоро наш поезд тронулся. Для меня так и осталось тайною, что говорили нам тогда англичане.

Из моих прежних посещений Лондона у меня осталось в памяти, что поезд останавливается на различных вокзалах Лондона. Я вспомнил также, что раз мне пришлось навестить одного знакомого, живущего в большом отеле, находящемся в том же здании, в котором находится вокзал Holborn Viaduct и что посещение этого знакомого мне было очень облегчено тем, что швейцар этого отеля говорил по-немецки. На этом основании я решил с нашими потемкинцами сойти с поезда именно на этом вокзале. Прибыв на него, мы поднялись вверх по лестнице, и на площадке возле нее я оставил всю компанию под охраною т. Штуббе, а сам пошел в отель. Швейцар его действительно говорил по-немецки. Он дал в наше распоряжение другого господина, находящегося в отеле, который, впрочем, говорил только по-английски. Этот господин поговорил с кем-то по телефону, и швейцар сказал мне, что по его вызову из одного очень дешевого отеля при-

едут две фуры забрать нашу компанию. Через некоторое время эти фуры появились и с ними один очень энергичный молодой еврей, говоривший по-русски. Англичанин, отрекомендованный нам швейцаром, все время оставался при нас, стараясь оказать нам всевозможные услуги, и руководил нашими потемкинцами, когда они переносили и размещали свои мешки на фуры.

Когда я дал на чай швейцару отеля, молодой еврей, приехавший с фурами, сказал мне: «Не забудьте также дать пару шиллингов детективу». Человек, которого швейцар отеля предоставил в наше распоряжение, оказался детективом. Это шло вразрез с нашим континентально-европейским представлением о детективах: в них мы привыкли видеть всегда своих врагов, от которых ждали кучи неприятностей; здесь же детектив пришел к нам на помощь.

Отель, в который мы приехали, видимо, раньше был приспособлен для приезжавших в Англию русских рабочих, а теперь, в виду прекращения иммиграции, оказался совершенно пустым, и товарищи-потемкинцы могли в нем свободно разместиться. Молодой еврей обратил наше внимание на надпись на стенах коридора на трех языках—английском, русском и еврейском жаргоне: «Плевать на пол строго воспрещается».—«Скажите вашим людям, что это правило они должны строго соблюдать. Только легко ли вам будет втолковать это им! — добавил он скептически. — С еврейскими рабочими, которые к нам сюда приезжали, у нас на этой почве происходили конфликты. „Что это значит, — говорили они, — я приехал в свободную страну и здесь не имею права плевать, куда хочу?"».

Устроив наших потемкинцев в отеле, мы с т. Штуббе на автомобиле отправились к нашему товарищу-бундисту. По нашей просьбе он сейчас же созвал на заседание по делу наших потемкинцев представителей всех русских социалистических партий в Лондоне, а также бывшего члена I Государственной Думы Аладьина, члена партии трудовиков, имя которого, благодаря его думским речам, прогремело в свое время в России и Западной Европе. Он жил тогда в Лондоне, и партийные товарищи думали, что с его помощью легче будет добыть в Англии денег на дальнейший путь потемкинцев.

Мы с т. Штуббе и двумя делегатами от потемкинских матросов поехали на заседание русских товарищей.

Там под председательством Аладьина было принято решение, что проживающие в Лондоне русские товарищи берут на себя все хлопоты, в том числе и добытие необходимых денег по отправке товарищей-потемкинцев в Канаду, и продержать их в Лондоне до их отправки.

После этого мы с т. Штуббе с облегченной душой вернулись в Германию, а через несколько месяцев я получил от товарищей-потемкинцев письмо с сообщением, что они, при содействии русских товарищей в Лондоне, попали в Аргентину, потому что отправка их в Канаду по каким-то причинам оказалась невозможной.

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 2-17-79.
Москва, Лубянский Пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ.

Александров, А.—Октябрь. Ц. 20 к.
Березовский, Ф.—Таежные застрельщики. Очерки революционной борьбы. 1905 г. Ц. 1 р.
Воробьев, В.—Перед рассветом. Воспоминания 1916—1917 г. Ц. 60 к.
Воспоминания членов Совета Рабочих Депутатов Петербурга 1905 г. Ц. 1 р. 25 к.
Герасимов, А. — Красный броненосец. (Вооруженное восстание в 1905 г. на броненосце „Потемкин Таврический“). Ц. 60 к.
Егоров, И.—1905 г. Восстание в Балтийском флоте и на корабле „Память Азова“. Ц. 10 к.
„Искра“. № 1—52 (декабрь 1900—ноябрь 1903). Полный текст под редакцией и с предисловием П. Лепешинского и со вступит. статьей Н. Крупской. В 7 выпусках. Вышли в свет первые три выпуска. Ц. 2 р. 50 к. за выпуск.
Канатчиков, С.—Как рождалась Октябрьская революция. Ц. 25 к.
Касаткин, К.—Первая Российская революция. Ц. 50 к.
Клаас, Г. — Мои первые шаги на революционном пути. (Воспоминания 1904—1905 г.). Ц. 30 к.
Корев, С. и Юрьев, В.—Историко-революционные вечера в клубе. Ч. III. Ленин и РКП. 1905 г. 1917 г. Ц. 1 р.
Кривошеина, Е.—Советы Рабочих Депутатов. Ц. 40 к.
Леске, Э.—Страницы из истории комсомола. Очерк по истории социалистического союза рабочей молодежи в Ленинграде 1917 — 1918 гг. Под редакцией А. Ф. Ильина-Женевского и с предисловием Г. М. Дрязгова. Ц. 50 к.
Лепешинская, А. К.—Книга для чтения по истории 1905 г. Ц. 1 р. 40 к.
Моршанская, М.—В. К. Курнатовский. Ц. 85 к.
„Новая Жизнь“. — Первая легальная с.-д. большевистская газета. 27 октября—3 декабря 1905 г. Полный текст под редакцией и с предисл. М. Ольминского и со вступит. статьями: Л. Красина, М. Литвинова, Ис. Гуковского и Е. Сми́ттен. В 4 выпусках. Цена каждого выпуска 2 р. 50 к.
Пионтковский, С.—История рабочего движения в России. Ц. 1 р. 30 к.
Пионтковский, С.—Февральские дни 1917 г. Изд. 4-е. (Печатается).
Пионтковский, С.—9 Января 1905 г. Ц. 30 к.
Платонов, А. П.—Восстание в Черноморском флоте в 1905 г. Ц. 1 р. 30 к.
Ротенберг, Н.—Первая русская революция 1905 г. Ц. 65 к.
Тахтарев, К. М.—Рабочее движение в Петербурге (1893 — 1901). Ц. 90 к.
Флеер, М. Г. — Рабочее движение в России в годы империалистической войны. Ц. 1 р.
Фельдман, К.—Потемкинское востание. (14—25 июня 1905 г.) Воспоминания участника с приложением статьи В. Бухгольда „Потемкинцы в Германии“ (печатается).
Харечко, Г.—1905 г. в Донбассе. Ц. 1 р.
Цветков-Просвещенский, А. — В годы реакции и нового под'ема (1907—1914 г.г.). Ц. 1 р.
Шелавин, К.—Рабочий класс и ВКП (б) в февральской революции 1917 г. Ц. 90 к.
Янсон, П.—Карательная экспедиция в Прибалтийский край. 1905—1907 г.г. Ц. 60 к.

14972

ЦЕНА 1 Р. 50 К.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД: УЛ. ГЕРЦЕНА,
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ